

*Небольшая повесть в рассказах  
о звездах, волнах, морских людях,  
со вкраплением стихов  
из тетради радиста Вити,  
погибшего во время сильного обледенения  
на СРТ «Нырок»*

## **РУКОПИСИ ИНОГДА НЕ ГОРЯТ**

Просидев пять лет в аудитории за одним столом, мы после университета уехали в разные края — я на Урал, он — на Сахалин. Ни он, ни я не хотели учительствовать, как предписывал диплом. Я стал работать на радио, он — в газете. В первые месяцы пришли два веселых письма, где рассказывал он о своих отношениях с редактором. Было ясно, что в газете он долго не задержится. И, кажется, уже в начале зимы читал я короткое послание, в котором Володя сообщал, что пошел на компромисс с полученной в университете профессией: стал учительствовать. В обмен на журналистику приобрел Володя возможность посмотреть мир, ибо учительствовать стал в школе плавсостава, то есть учил моряков и рыбаков русскому языку и литературе непосредственно в море-океане.

После возвращения с Сахалина написал Володя Сисикин на материале дальневосточных впечатлений повесть в рассказах, названную впоследствии «Перья птицы страус». И, естественно, попытался ее опубликовать. Не помню всех попыток, но одна в памяти застряла.

Воронежский журналист Валерий Попов отвез повесть члену редколлегии «Нового мира» Алек-

сандру Марьямову, с которым был знаком. В конце ноября 70-го мы с Сисикиным поехали в Москву посмотреть Театр на Таганке. Тогда-то он и созвонился с Марьямовым и пошел к нему домой, тащив с собой меня для собственной отваги. Встретил нас Александр Моисеевич радушно, угостил чаем и сказал о повести самые хорошие слова. Из всего разговора запомнилось главное.

Я мог бы довести повесть до печати, сказал Марьямов, но изменилась ситуация (пока Сисикин добрался до Москвы, из «Нового мира» изгнали главного редактора Александра Твардовского). К тому же в прошлом году, сказал Марьямов, в журнале был напечатан роман, сделанный на подобном материале — «Три минуты молчания» Георгия Владимова. Это бы ничего, так как, несмотря на сходство в жесткости натуры, повесть и роман — вещи разного стиля. Но как раз действительность, изображенная в романе, стала поводом очередного доноса на Александра Твардовского: какой-то начальник северного тралового флота послал в ЦК партии жалобу, в которой обвинял Владимова и «Новый мир» в злонамеренном искажении прекрасной советской действительности. Нынешний редактор, сказал Марьямов, вашу вещь не пропустит...

В Воронеже повесть прочитал Юрий Данилович Гончаров, и часть ее была подготовлена к публикации в «Подъеме». В «Литературной России» летом 71-го года появился анонс: читайте в августовском номере воронежского журнала рассказы П. Сысоева, В. Сисикина, А. Битова.

Увы, всемогущий воронежский культуртрегер зав. отделом обкома партии Евгений Тимофеев был похлеще начальника тралового флота. В цензуре, в бдительной охране идеологической чистоты и эстетической стерильности искусства соцреализма провинция проявляла незаурядное рвение, вприпрыжку скакала впереди столицы. Вместе с прозой Сисикина из журнала выбросили и рассказ Андрея Битова.

В одной из книг Битова, изданной в 1991 году, в комментариях я обнару-

жил текст письма, посланного писателю из Воронежа.

*«Дорогой Андрей Георгиевич!*

*Известие мое Вас огорчит. Печать Ваш рассказ нам запретил зав. отделом культуры обкома партии, который цензурирует каждый номер, — снял рассказ уже из сверстанного журнала. Упорные попытки отстоять ни к чему не привели. Кроме меня, зам. редактора и еще одного члена редколлегии журнала в обкоме в роли заступника побывал, уже самостоятельно, Г.Н. Тропольский, самый авторитетный человек в нашей писательской организации, но и его не послушали. Рассказ расценен как сексуальный (!), аморальный и т.д. На самом же деле, как Вы понимаете, все это просто перестраховка трусливых недалеких чиновников: как бы чего не вышло!!! Журнал пришлось задержать, переверстывать, спешно заткнуть дыру другими материалами. Большинство моих товарищей по редакции (редактор не в их числе) очень огорчены этой историей, тем, что рассказ у нас не появится. Все мы, естественно, теперь особенно заинтересованы в том, чтобы рассказ Ваш все-таки увидел свет. Надеемся, что это произойдет и критика отнесется к нему с пониманием и дружески. Это будет не только Ваш праздник, но и наш тоже.*

*1971 г.».*

В комментариях автор письма не был указан. Но не составило труда узнать, что написал его Юрий Данилович Гончаров.

Для Андрея Битова «праздник» наступил в 1973 году: покочевав по десятку журналов, рассказ «Образ» был опубликован в «Звезде».

Для Владимира Сисикина «праздник» наступает сегодня. Звучит это смешно и горько. Дорого яичко к Христову дню.

Перечитав через много лет «Перья птицы страус», я увидел, как крепко вписана повесть в контекст времени. Сколько здесь переключек и параллелей! Интерес к Сибири и Дальнему Востоку (не только по призыву партии).

Чудики Василия Шукшина. Маргиналы нашего «монолитного» социума, к которым пробивался, начиная с «блатных» песен, Владимир Высоцкий, и о которых пока не смог напечатать ни строчки Сергей Довлатов. Ирония Василия Аксенова. Заразительное влияние возвращенной в «оттепель» литературы, экспрессивной поэзии и прозы 1920-х годов — скажем, Бабеля, кото-

рым студенты-филологи начала 60-х зачитывались...

Как сказал Нильс Бор, весной на разных полянах расцветают одинаковые цветы!

Хорошо, что рукописи иногда не горят, а праздник все-таки в конце концов наступает.

*Вадим КУЛИНИЧЕВ,  
1998*

### *Стихи из тетради радиста Вити*

*Как хорошо,  
Что небо — лишь небо,  
А не посыпанный звездами  
Хлеба кусок.  
Уж ты бы  
И я бы  
Нашли бы местечко,  
Где бы  
И ты откусить бы,  
И я отломить бы  
Смог.  
Мы бы хрустели  
Бесплатной  
Горбушкой горизонта,  
Мы бы жевали,  
Лыбясь,  
Не думая вовсе про то,  
Что там,  
За откусанным —  
и отломанным —  
Нет ничего там.  
Просто —  
Зияющее ничто.  
Как хорошо,  
Что небо —  
Лишь небо,  
Что его нельзя  
Съесть,  
Что оно и шире,  
И глубже  
Куска хлеба,  
И что за ширью  
И глубию неба  
Много чего  
Не по зубам  
Нам  
Есть.*

Уже на вторые сутки после отхода из Невельска тралмастер Ефимыч получил радиограмму: «Супруженица скурвилась тчк Серега».

Шевеля губами, Ефимыч долго перечитывал роковые слова, потом ушел на бот-дек. Там он простоял, маленький и сгорбленный, вечер, ночь, утро, день. Видимо, на нервной почве, он беспрерывно плевал за борт, горестно шепча:

— Ну, едрена-матрена... — и недоуменно мотал головой.

Борща не хлебал и даже не забивал козла в кают-компанин.

— Атомная сила в ней, в бабе, стерва, — сказал артельщик, оглядев жалкую фигуру Ефимыча. — Эк человека скрючило.

И, сам не понимая зачем, потащил Ефимычу банку апельсинового компота.

— Компотику-то хоть... — донесся с ботдека жалостливый голос артельщика. — Ежели из-за каждой бабе ложку не доешь, моментально в деревянный бушлат упадешь...

Раздалось рычание, и банка, красиво сверкнув на солнце, упала на палубу. Артельщик пришел, придерживая полуотгорванный рукав.

— Оборзел вовсе, стрючок старый, — констатировал артельщик. — Лечить надо.

Пнул ногой компот, он перелетел через фальшборт и плюхнулся в воду.

— Добро бы баба... Кобыла бесхвостая!

...Семь суток назад Ефимыч прощался с недавно обретенной женой Шуркой. Он притащил ее на пирс, как катер-жучок широкобедрую баржу. Она была в два раза выше и шире Ефимыча и в четыре раза моложе. Глаза у нее были красивые и нехорошие.

Ефимыч вел себя отвратительно.

— Вернись, Шурок, с морей, — лебезил он, — денег полмешка будет. В Сочи махнем, а?

— И шубу. Из норки.

— Зачем в Сочах-то шуба? — оторопел Ефимыч.

— Женился — обещал?

— Лады, лады, Шурок, купим. Поедем, значит, в Сочи. Звезды, теплынь, цветочки пахнут — наповал... Кыш отсюда, пехота тамбовская! — вдруг накинулся он на молодого матросика Локтепяткова, который тащил мимо мешок с солью да так и обмер с мешком на горбу, растопырил глаза на Шуркины прелести.

— Гляди у меня, Шурка, — внезапно озлился Ефимыч, — гляди без меня тут... ты меня знаешь!

— Да что ты, Ефимыч, рази ж я когда... — лениво чмокнула она Ефимыча в лысину, одновременно поведя глазами на Локтепяткова. А только отошли в ночь, и пирс издали стал похож на сцену, освещенную прожекторами, кто-то возопил:

— Гля, ребя, Ефимычеву кралю какой-то фрайер под ручку повел!

— Вот сука вербованная! Где Ефимыч?

— В кубрике. Я, грит, не люблю тяжких сцен прощания и не выношу женских слез...

Артельщик прилаживал рукав, обижался:  
— Какие каскады устраивает, а? Из-за бабе!

Жора, могучий красавец-грузин, одиннадцатый раз перенесший триппер, потянулся:

— Вах! За хороший женщина можно в гроб залезть! — Зажмурился, подумал, чмокнул: — Ай, можно!

Артельщик не унимался:

— Лечить его надо, братцы. Швабра, а не человек. Еще за борт сиганет, стручок. Я его знаю — сколько лет плаваем.

Ребята, валявшиеся на брезенте, что затыгивал крышку трюма, загомонили.

— Спирту бы...

— Спиртом от этого дела — лучшая лечба...

— Где его взять-то? Последнюю бутылочку вон аж когда сжевали.

Артельщик ушел в тамбучину.

Леха, бывший учитель, подавшийся в мариманы по мятежности натуры, дзенькнул гитарой:

Сияй, сияй,  
прощальный сват,  
Люби последней,  
любви вечерней...

Солнце по пояс сидело в океане. С тяжелых медных облаков, казалось, вот-вот потечет пылающий металл. Хлопотали алые чайки.

Артельщик появился с алюминиевой кружкой. Стал вынимать пузырьки и трясти над посудинкой — «Шипр». Твой, Локтепятков. Одеколон, «В полет», полпузырька, Жора, у тебя взял в рундуке, зубной эликсир — учителей, «настойка лимонника, тонизирующая» — старпом пожертвовал из аптечки, «Тройной» — мой. Все. Были у старпома еще какие-то растворы, пробовал — не горят. Потреблять невозможно.

Артельщик помешал в кружке не очень чистым мизинцем и позвал:

— Ефимыч!

— Ну? — раздался загробный голос с ботдека.

— Иди, говорят, дело есть!

Появилось что-то такое в голосе артельщика, отчего Ефимыч спустился, подошел и, сопя, встал боком:

— Ну?

— Полечись-ка микстуркой...

Ефимыч принял сосуд обеими руками. На глаза его навернулись слезы.

— Спасибо, ребятки, — забормотал он. — А я думаю, чем это по палубе несет, вроде парикмахерской...

— Принимай, принимай...

— Чего ж я один-то?

— Имениннику...

— Ну, коли так, — вздохнул Ефимыч и махом опростал кружку. Крякнул, поморщился, расплылся:

— Ух ты! Тайфу-ун...

Весь коллектив крякнул, поморщился, расплылся:

— Тайфу-ун...

— Другое дело, — сказал артельщик. — А то не моряк, а куча тряпок.

Ефимыч, моментально окосевший, нахально объявил:

— Ты меня каждый день так потчуй, я тебе рукава, может, рвать не буду...

Потом он принялся обнимать всех и каждому изливал душу, ароматно дыша:

— Тыщу Шурок себе найду! Подумаешь, фря какая! Я тридцать лет на рыбалке, едрена-матрена! — выпячивал узкую грудь.

— Дык ить, — поддакивали Ефимычу, — конечно, найдешь...

Но было понятно, что вряд ли какая польстится на его маленькое старческое тело, увенчанное взбалмошной головой, с которой выдуло волосики океанскими ветрами.

Ефимыч плясал, ухал, присвистывал. На него смотрели снисходительно (как вообще на Руси смотрят на пьяных) и даже с некоторой завистью. Прихлопывали в ладоши, играли на расческах, а Леха-учитель порвал струну на гитаре.

Солнце скрылось. Потемнело. Ударил ветер, гуднул в такелаже. Чайки стремительно, боком, полетели за горизонт.

— Пошли, стручок, пошли отдыхать, — сказал артельщик, и Ефимыча увели под руки.

Пустая палуба закачалась. Мягко вспрыгнула волна, хозяйкой прошлась по литым доскам, слизала окурки и пару спичек. На крыло мостика выглянул вахтенный штурман, ловя ветер, поднял послушавленный палец. Ушел в рубку и недовольно буркнул по спикеру:

— Боцман, проверить крепления. Тайфун идет.

### *Стихи из тетради радиста Вити*

*По щеке плеснуло  
Чайкино крыло.  
Я в бездонный глянул  
Небосклон.  
Сколько тонн  
Из-под форштевня утекло?  
Миллион направо  
И налево —  
Миллион.  
Ах, как сладко  
Ты меня  
Когда-то мучила.  
Я глаза таращил,  
Бормотал стихи.  
Я слонялся нежный  
И такой задумчивый —  
Головою стучался  
О косяки.  
Я теперь рубаю  
Рыбу ежедневно:  
Впору академику  
Фосфору в мозгу.  
Только в этом мире,  
Ласковом и гневном,  
Ни черта,  
Как видно,  
Понять я не смогу.  
Отчего так путана  
Наших душ мозаика.*

*Отчего всех громче  
Слово:  
Никогда?  
Искрой-сахаринкой  
Растворилась чайка.  
Под форштевнем шепчет  
Горькая  
Вода.*

## СЫН АКТРИСЫ

### 1

Спасатель «Стремительный» притащил на буксире СРТ «Нырок». На его мачте сверкала елочная игрушка — скрюченный человечек. Когда «Нырок» подвалил к пирсу, встречающая толпа безмолвно ахнула. Над головами, обнимая мачтовое железо, медленно плыла человеческая фигура, облитая тонким слоем льда. Сквозь лед слабым чернильным пятном светилась тельняшка. Толпа стояла, закаменев. Только чья-то перекошенная бабуля, осыпаясь мелкими, как блошинный скок, крестными знаменьями и поминая «анчихриста», с неестественной ревностью кинулась прочь.

### 2

Когда «Нырок» наскочил на камни, из радиорубки выдохнуло радиста, лицо его было бело, плоско от страха и билось, как камбала, выхваченная на воздух.

— Мама, — сказал он кривыми губами, — ой мамочка-а...

Вывалился на крыло мостика, оттуда на палубу — к мачте. Убегая от бандитствующей воды, взмыл по скобам в низкое небо. Привязался капроновым ремнем и замер, держась всем столапым, что есть в человеке.

Рация молчала, потому что антенна обросла льдом, затем лопнула. На верхнем мостике беспрерывно жгли красные фальшфейеры. Снег, проносясь мимо, на секунду вспыхивал, как мильон углей. Команда рубила уже пять часов алое кристаллическое мясо льда, которым зарастало судно.

Рация молчала.

— Слышь, маркони, слазь, сволочь! — прохрипел радисту тралмастер Ефимыч. — Наладь матюгальник, хрюкни в эфир, сволочь!

Радист, впившись в железо, молчал.

Когда случился аврал, Ефимыч брился. Полбороды осталось на лице, волосы превратились в кусок льда. Под его тяжестью Ефимычева голова, насаженная на спичечную шею, ломалась, кренилась набок. Ефимыч искоса глянул вверх, выхватил у штурмана ракетницу и запел детским голоском:

— Сла-азь...

Замерзающий человек равнодушно посмотрел вниз. Он был еще жив, но, в общем-то, уже мертв и не ощущал холода и бешеной качки. Он смотрел с потусторонней высоты на далекую крохотную палубу, окруженную кривляющимся океаном и красиво залитую цветным огнем. Это было как сцена, на которой азартно размахивали руками актеры, наряженные в оранжевые робы и красные спасательные нагрудники. Но спектакль не интересовал зрителя, ибо был глуп с точки зрения вечности. На голове радиста выросла корка льда, под этим холодным сводом прошла какая-то мысль, и радист не заметил, что она была последней...

Мимо шикнула Ефимычева ракета и ушла во тьму, с дрожью пожирая пространство. Может, именно ее заметил спасатель и привел «Нырок» в порт.

Хоронили радиста трое: Саня Перебейнюх, Ефимыч и боцман Масленкин по флотскому прозвищу Дракон. Впереди процессии с венком на шее штормовой походкой двигался Перебейнюх. Он был пьян и всхрапывал на ходу. На еловом венке хороводили нетрезвые буквы: «Спи спакойно дорогой товарищ». В кузове машины, над гробом, плавала багровая рожа боцмана. Позади, пытаясь дирижировать оркестром из пяти лабухов, пятился Ефимыч. Время от времени он спотыкался и падал на спину, кощунственно задирая ноги. Ему было приятно опрокидываться на твердую матушку-землю, которой он не видел, почитай, девять месяцев. Упав, это седое дитя мелко хохотало и не хотело вставать.

— Что за цирк? — неодобрительно осведомился постовой милиционер. — И что вы за люди?

— Мы люди с «Нырка», — сонно прогундосил огромный Перебейнюх.

Город уже знал о последних событиях, и милиционер неслужебно посоветовал:

— Вы... это... ребята, потише.

Боцман из кузова склочно спросил:

— Что потише-то? Что потише?

Перегнулся через борт и рявкнул:

— Ты р-рыбу жрешь?

Милиционер посмотрел в близко посаженные налитые кровью глаза Дракона и неожиданно для себя ответил:

— Жру.

— Вот что ты жрешь! — боцман с пьяным пафосом ткнул пальцем в гроб и приказал шоферу. — Едь, чего встал!

До кладбища, однако, не доехали, а завернули погреться к одним знакомым девочкам. Увидев страшную компанию, девочки было забеспокоились. Но Саня, моментально проснувшийся при виде женского пола, сгреб всех в охапку и перцеловал, сипя:

— Ах, вы мои курочки, а ну разбункеровывай!

И девочки потащили из могущественных перебейнюховых карманов водку, спирт, вино, колбасу, апельсины, шоколад и многое, многое другое. Ефимыч суетливо схватился за покойника, намереваясь и его внести в помещение.

— Оборзел, стручок? — остановил его боцман.

— Дык упрут же, — простодушно поморгал Ефимыч седыми поросычыми ресницами.

— Не упрут, — зло отвечал Дракон. — Коммунизм на дворе скоро.

Гроб остался на улице.

Смеркалось.

Из окон на снег падали желтые трапеции. Над краем занавески бродили сверкающие стаканы, слышался дурашливый женский смех. Потом свет погас, и там, внутри, воцарилась дышащая потная тишина. Снаружи было морозно и высоко, где-то под самыми звездами летал отдаленный кобелиный брех. Радист, скучая, ожидал в кузове. Кто-то задудел на трубе, свет вспыхнул, ударили литавры, на улицу выкатился Ефимыч, поблевал, посмотрел на спокойную луну и сказал:

— Ат-лично!

Потом в сугробе боролись на спор Дракон и Саня Перебейнюх. Они были обнажены до пояса, их раскаленные булыжные плечи окутывал голубой дым от закипающего снега. Девочки, приплясывая на крыльце в коротких рубашечках, болели. Наконец боцман опрокинул Саню и придавил тяжелой, как столб, рукой, в которую была врезана синяя надпись: «Отец, ты спишь, а я страдаю».

Потом поехали дохоранивать радиста. Все забрались в машину, а музыканты



заиграли невыразимый вальс «На сопках Маньчжурии». Морозные мундштуки разодрали губы, по подбородкам текла черная кровь. Но музыканты все играли, играли, и медленно двигался среди сопок механизм, неся на спине кучку притихших мужчин и женщин. Огромная природа вокруг искрилась, как посыпанная кристаллами нафталина. Покачивалась луна — бледное донышко консервной банки. Казалось, ткни кулаком перед собой в звездную кисею — мир заколеблется как декорация, сопки пойдут волнами, упадет картонный лес. Все обнаружит свою ненастоящность, за которой прячется истинный, теплый, человеческий смысл. А музыканты все играли, из жерл инструментов вылетал парок и таял, как жизнь. И приближалось кладбище, где в строгом порядке стояли кресты векового дуба и звезды синего алюминия.

4

В чемоданчике радиста нашли пару тельняшек, томик Блока, пачку писем и папку с фотографиями известной актрисы, которую все много раз видели на экране. Оказалось, что она была матерью радиста. Ефимыч, обтерев руки об штаны, взял портрет этой женщины в старинной шляпе с белыми перьями и перчатках до локтей.

— Ты гля, — ошеломленно сказал Ефимыч, моргая поросячьими ресницами, — ты гля, бляха-муха, чего есть, а? Мы-то думали вон что, а оно видишь как оно, а? То-то, я гляжу, наш радист мордой на кого-то сшибается. А он это... Хм... У нас на пароходе кино с ней есть.

Мать писала: «Ты молод, сын, ты романтик. Тебе, как настоящему мужчине, нужно постранствовать по свету, совершить свои подвиги Геракла. Я понимаю это умом, но сердце мое день и ночь болит о тебе, мой маленький. Умоляю, будь осторожен, береги себя. Если с тобой что случится, я не переживу».

— Да-а, — сказал Ефимыч, — номер, чтоб я помер. Какой же ей, предположим, год теперь? Сынок-то здоровый был лоб.

— Около сорока, верно, — молвил боцман, — а выглядывает на четвертную, не больше.

— Мазь, — авторитетно заявил Ефимыч. — Ну, этот... грим.

— Им, артисткам, операцию сделать — что почесаться, — вмешался Генка Степашкин, неугомимый травила, прозванный за это свое качество Шестиламповым. — У их там, в Москве, институт специальный есть, там кого хочешь омолодят — шкуру подтянут, волосья подкрасят. У меня кореш был, лысый, как пенок, так ему там за большие башли вечный парик сделали, а волоса из нейлона. Такой был парик — намертво к голове приклеивался. Ну, этот кореш, конечно, с радости наелся и в вытрезвитель попал. Там его, конечно, обстригли наголо. Да еще говорят: что это, говорят, у тебя, сволочь, за волосья такие, всю машинку поломали. Так что омолодиться теперь ерунда. Двадцатый век...

— Век-то век, — сказал Ефимыч, — а ты, Шестиламповый, дурак-человек. Ты глянь, какие у ей глаза, с такими глазами она до ста лет не состареет. И талант. Дано ей... А ты — подтянуть, подкрасить. Тыква!

— Тоненькая какая! — гнусаво сказал Саня Перебейнюх, и вдруг челюсть у него отвисла. Он прочитал по газетной вырезке, которую вертел в руках: «Несмотря на хроническую болезнь сердца, актриса не бросает своего труда, продолжает потрясать тысячи зрителей». — Понял?

— Что — понял? — тупо спросил Шестиламповый.

— А то, что она моментально дуба даст, как все про все узнает. Мотор-то у нее тово...

Возникла пауза. С похмелья думалось нехорошо, трудно.

— Написать надо, — робко произнес Ефимыч. — Мол, так и так, не сильно убивайтесь... Жаль, ребята, такая красота погибнет.

— Вот получила она твои каракули и специально не убилась, — ехидно сказал Шестиламповый. — Она же ж мать! Ей факт важен — сын погиб! И это ей как доской по голове. А эти твои сю-сю-сю, ся-ся-ся ей до лампочки. Верно я говорю, Дракон?

— Какие женщины есть на свете, — молвил боцман, глядя в пространство злыми глазами. — То есть такие невозможные женщины... одни глаза, а вокруг перья птицы страус. А мы всю жизнь с девочками...

— Ты на девочек бочку не кати, — вскинулся Ефимыч, — они тебя, дурака бездомного, приючают и тепло свое дают, и жалеют. Перышки у них, конечно, попроще, да и мы не дюже важные птицы.

— ...и будем всю жизнь с девочками, — не слушая Ефимыча, продолжал боцман. — Шестиламповый! Подь к штурманам, возьми бумагу и чем пишут.

И боцман сел писать. Он потел, тряс толстыми пальцами, затекшими от крохотной ручки, а когда происходила клякса, ворчал: тю, стерва! Письмо понесли на проверку в кубрик бывшему учителю Лехе, который валялся на койке, весь в бороде и сапогах. Леха нашел где-то огрызок красного карандаша — все, что осталось от прежней умной жизни, и стал читать. В письме не было ни одного знака препинания, кроме запятых, которых было в два раза больше, чем требуется, но и те стояли не на своих местах. Радист же выглядел в письме героем, легендарной личностью, «человеком с самой большой буквы», «беззаветным львом, который как тигр боролся за живучесть судна на своем боевом посту».

Все сказали:

— Поправь, Леха, точки-запятые коли...

Леха, бывший учитель, спрятал карандаш:

— Править не надо. Так лучше. Но сомневаюсь, что это все даст положительный эффект.

## 5

Письмо отправили авиапочтой.

Как-то ночью боцман пришел в кают-компанию, наладил кинопроектор и выбрал коробку с лентой, о которой поминал Ефимыч.

На измятом простынном экране затрепетало изображение. Женщина явилась из-за сопок времени, в диковинной шляпке, в смешных перчатках до локтей. Боцман представил, как сейчас к ней летит письмо. Его несет многотонная алюминиевая стрела с хищно загнутым книзу носом. Чтобы не пробудить команду, боцман напрочь снял звук. Пальцы женщины неслышно бегали по клавишам рояля, свеча роняла медленные маслянистые капли. Стрела летела взорвать все это, разнести к черту. На соплах двигателях стоял адский пламень, бритвы-крылья отражали звездный свет. Женщина шла по липовой, пчелиной аллее в своем неведомо каком минувшем веке. Навстречу, в фиолетовом безвоздушном пространстве, медленно опуская клюв, снижалась металлическая птица. Траектория ее полета кончалась между беличьих раскосых глаз...

Пленка оборвалась, полыхнул пустой кадр, ослепительный как взрыв.

— Достигло, — с суеверным ужасом подумал боцман и вырвал из розетки шнур. Посидел в темноте, вышел на палубу, хватил морозного воздуха.

В море уходил какой-то СРТ, его красный топовый огонь медленно гас вдали. Высоко стояла стальная луна, мир был прозрачен, как стакан воды.

*Стихи из тетради радиста Вити*

*Стало много сниться  
Неидейных снов.  
Закручинился  
По дому снова.  
Если душеньку  
Перенести на полотно,  
Выйдет  
Аленушка над омутом  
Васнецова.  
Средь угрюмых  
Океанских звезд  
Заблудилась  
Вахтенного папироска.  
Детский запах  
Маминых волос  
Снится, мама,  
Твоему матросику.  
Снится лето.  
Радужные ливни.  
Снится —  
Без забот в траве лежу я.  
Говорят:  
В сезон штормов  
Осенне-зимних  
Это  
Не мобилизует.  
Мол, отдать  
Должен одному —  
Лову рыбы.  
Комсомолец ты же!  
Завтра в руки  
Я себя возьму  
И во сне  
Госплан увижу.  
Цинковая  
Командорская заря  
Затускнеет  
Над районом лова  
Буду вылитые  
Три богатыря  
Все того же,  
Мама,  
Васнецова.  
Только  
И богатырейшим  
Из богатырей  
Хочется,  
Чтоб хоть в сезон разочек  
Им пригладили  
Тайфун кудрей  
И спросили:  
Устал,  
Сыночек?*

# БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ РОБИН КРУЗО!

## 1

Администраторша распахнула дверь и с криком «пьяницы проклятые!» выбросила в ночь два чемоданчика. Брезгливым тычком в спину выставила Ефимыча и Локтепяткова.

Щелкнула задвижка.

Ефимычев чемоданчик распахнулся. Норд-ост подхватил кальсоны, они, как живые, побежали по улице, плавно перемахнули через забор и пропали во тьме.

Ефимыч пал грудью на кучку радостно залопотавшего тряпья и рывкнул туда, куда не было возврата:

— Сволота несчастная! Откр-рой, хуже будет!

Но тут же заткнулся, сообразив, что если поднимать шум, администраторша доложит о драке в Управление. От этого будет значительно хуже не ей, гадюке, а им, старому тралмастеру Ефимычу и молодому матросу Локтепяткову. Про друзей и так все знали, что они любят плюнуть пошире. И слушать ничего не станут.

Ветер нес крупный сырой снег. Одну снежинку забило Локтепяткову глубоко в ухо, и там, где-то в мозгах, она растаяла. Чувствуя, что спина и ягодицы покрылись ледяными наждачными мурашками, матросик судорожно рванул дверь.

— Ха. Ха. Ха, — истерично сказал Ефимыч.

Тогда Локтепятков присел, сделал руки рупором. И заговорил, жмурясь от унижения, противным толстым голосом, не лезущим в замочную скважину:

— Галина Георгиевна, мы больше не будем... Мы же не пьяные, Галина Георгиевна... Хоть нюхни поди...

И сорвался на визг:

— Нам же идти некуда!

Никто не отвечал.

В бильярдной мирно постреливали шары.

— Бесплезняк! — сказал Ефимыч. — Эту кашалотку кровью человек поить надо...

## 2

А ведь буквально минуту назад Ефимыч, Локтепятков и радист Витя находились в своем номере и слушали, как на окне трещит отклеившаяся бумажка: тр-р-р-р. Ветер слабел, бумажка затихала, потом опять заводила: тр-р-р-р.

Третий месяц команда «Нырка» плесневела в межрейсовом: судно стояло на ремонте. Деньги давно были обменены на большие и малые удовольствия земли, и наступило великое томление.

Тр-р-р... тр-р-р-р...

В комнате отдыха кто-то одним пальцем подбирал: мы и-дем по Уруг-ваю, ночь хоть вы-ко-ли гла-за... мы и-дем по Уруг-ваю...

Совершенно ошалевший от скуки Ефимыч талдычил: «Бедный, бедный, бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо? Куда ты попал?» Недавно, на пятьдесят пятом году своей кудрявой жизни Ефимыч прочитал «Робинзона» в пересказе Корнея Чуковского. Книга потрясла Ефимыча, а слова Робинзонова попугая он выучил наизусть. «Бедный, бедный, бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо, куда ты попал?»

Ефимыч то вскрикивал, то опускал голос на трагические низы, то тараторил, то подвывал, то медленно и торжественно ронял слова, то мерзко подхихикивал. Так он заходил уже часа полтора, и это становилось страшным.

Локтепятков нехорошо молчал.

Недавно он вернулся с почты, куда исправно бегал по два раза на день. Писем от Марьи не было. Да еще эта идиотка, что на «до востребования» сидит! Локтепятков наклонился к окошку, а девица по телефону языком колотит.

— Локтепяткову глянь, — сказал ей Локтепятков.

Она трубку плечом к уху прижала, достала пачку писем, начала перекидывать:

— Да? Да ну? Иди ты! Я бы с ним после этого... Да он дурачок, извини меня, конечно, подруга дней моих суровых! Ха-ха-ха! — Сунула, в ящик корреспонденцию. — Вам нет. Пишут. Слушай, Юльча, а он не это... Ну, сама понимаешь... Ха-ха-ха!

Локтепятков заинтересовался:

— Ты на какую букву смотрела, подруга дней моих суровых?

— Как на какую? На «пэ». Пятколоктев?

— Локтепятков я, — леденя, сказал Локтепятков. — На «лэ» гляди, а не по телефону тут хахакай!

И сунул ей под нос паспорт.

— Ну так и говорите, что Локтепятков!

— Я свою фамилию не выучил, да?

— Значит, не выучил! Погоди, Юльча, тут какой-то лезет...

Брякнула трубку на стол, схватила, другую пачку, начала перекидывать.

— Какой «какой-то»? — задохнулся Локтепятков. — Договаривай, доформулируй! Что молчишь-то? Зубы от злости смерзлись, да? Глядит, как змея из-за пазухи!

Локтепятков сузил глаза, сделал губы куриной гузкой. Получилось очень похоже на девицу. В очереди одобрительно засмеялись.

Почтарка шлепнула последнее письмишко, как козырного туза, и мстительно сказала:

— Все равно нет! И на «лэ» на твое нет! Может, еще на какую букву посмотреть прикажете?

— На «жэ» себе посмотри! — отрубил Локтепятков и ушел, хлопнул дверь так, что телефон со звоном подпрыгнул.

Локтепятков лежал в неподвижном бешенстве, а в голове клокотала каша из каких-то паскудностей: почему-то вспомнилось, как в школе, еще в шестом классе, на уроке физкультуры, прилотно вдруг с мерзким звуком лопнули на зад штаны, как все хохотали и как заливалась колокольчиком Машка; всплыл откуда-то эпизод из Охотоморской экспедиции, когда, вытралили на палубу хорошенького акуленка, такого хорошенького, что Локтепяткову захотелось с ним поиграться, а тот, сволочь, даром, что маленький, так тяпнул за руку, что пришлось его смайнать за борт вместе с брезентовой рукавицей; предстал неизвестно почему, как живой, соседский козел Тихон, который с самого его козлиного детства никого не брухал, а как Локтепяткова увидит, так бодаться кидается; главное, что он ему сделал, козлу паршивому, ровным счетом ничего, так, животная ненависть с первого взгляда; Локтепятков тогда уже с Марьей жениться начал, почувствовал себя однажды тореадором и ломиком сшиб Тихону один рог, так этот единорог, когда с Марьей провозжались, выскочил из темноты и пропорол Локтепяткову гармошку, в засаде сторожил, тварь такая; потом вспомнилось, как в море получил от Марьи телеграмму о смерти матери, тогда не заплакал, а сейчас почему-то сиротская слеза навернулась, и Локтепятков стал размышлять о жизни вообще: «Родился, — думал он о себе, — потом ничего не происходило... потом помер...»

Радист Витя лежал на спине с закрытыми глазами, и лицо его было вдохновенно. Под веками буграми ходили глазные яблоки, грудь прерывисто вздымалась.

Никотинного цвета палец, высунувшийся из дыры в носке, ритмично сгибался и разгибался. Витя сочинял стихи, и времени не ощущал. Иногда он вскакивал, бесновато озирался и записывал в тетрадку несколько слов. Потом впадал с прежнего положение, религиозно шевеля губами.

Тр-р-р...

Мы и-дем по Уру-гваю...

«Бедный, бедный, бедный Робин Крузо»...

Тр-р-р-р-р-р...

Локтепятков, рыча, сорвался с места и стал хлопать ладонью по оконной раме, как бы ловя муху.

Тр-р-р, где-то продолжала выть проклятая.

— «Бедный, бедный, бедный Робин Крузо!» — насмешливо сказал Ефимыч.

Локтепятков сел на всхлипнувшую кровать и с ненавистью уставился на Ефимыча:

— Заткнись, стручок!

Ефимыч скосил маленький поросячий глаз и надменно спросил:

— Где ты был, Робин Крузо?

— Заткнись, — повторил Локтепятков и задрожал крупной лошадиной дрожью.

— Куда ты попа...

Локтепятков, сладостно замычав, бросил в друга бутылку с пивом, но не попал. Ефимыч увернулся. Бутылка размазалась по стене в золотистую пыль и пену. Ефимыч, вереща, как терьер на медведе, повис на лохматом Локтепяткове. Радист неумело попытался разнять бойцов. Но это удалось лишь администраторше, которая нервных людей мигом лишила кровя.

Радист остался в пустой комнате, близоруко рассматривая на ладони свой свежевывитый зуб. Как это произошло, никто не заметил, даже сам бывший владелец зуба. А Ефимыч с Локтепятковым сидели на своих чемоданчиках, на улице ночной, на Сахалине-острове, на крутом горбе шара земного и, обнявшись, дружно материли администраторшу. А шар земной был повит ледяными ветрами, и ни в полях его, ни в городах, ни в джунглях, ни в горах не было у друзей ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни сына, ни дочери.

### 3

Радист тем временем остановил кровь изо рта и, вздохнув, отправился в администраторскую. Затаив дыхание, как спусковой крючок, потянул ручку двери. Но грома и пламени не последовало. Администраторша спросила хладнокровно, потому что радист был нешьющий, не хулиган, добряк-человек:

— А, Витенька, как дела?

Витенька пощупал языком острый обломок на верхней десне и сказал шепеляво, без улыбки:

— Дела в Кремле. А тут делиски. За сто вы их, Галина Георгиевна? Они же не нарочно.

— А зуб тебе вынули тоже не нарочно?

— Не нарочно.

— Ах, не нарочно? — и Галина Георгиевна воздвиглась во весь свой отчаянный рост, собираясь сказать обвинительную речь. Витенька робким взором обвел ее фигуру, состоящую из стальных костей и твердой, как футбольный мяч, плоти. Оглядел ее ошеломительную голову, где, как замороженный дым, тщательно стояли волосы. И радист убоился этой красоты и непреклонности. Но все же, торопясь, принялся рассказывать этой удивительной административной женщине, как

было дело и почему оно произошло. Затем перешел к фатальному одиночеству человека и вообще стал читать стихи, где шелестели такие слова:

О этот белый крик февральской ночи,  
Когда ни женсины, ни друга, никого.  
Когда вдыхать уж больше нету моци  
Бездомность дома своего...

Все рифмы Галина Георгиевна выслушала уже сидя. От стихов она несколько размякла и сурово спросила:

— Сам составил?

Радист застенчиво кивнул.

— Красиво составил, — величественно одобрила администраторша. — Но я скажу тебе правду-мать, Витенька. Ты еще молодой и любишь наматывать сопли на кулак. Все мы одинокие и живем как робинзоновый попугай на отдельном острове. У меня тоже пьющий муж. Он не понимает семью, а детей у нас не получилось. Иногда мне хочется побить его, чтобы почувствовать рядом живое существо. Но я не позволяю себе этого. Порядок должен быть всюду и всегда, или мир потеряет зубы и головы. Поэтому, — администраторша возвысила голос и подняла восклицательный палец. Полированный маникюр на нем загорелся, как стоп-сигнал. — Поэтому — осадите, дорогие товарищи.

Глядя на палец, Витенька отчаялся.

Но вот раздался звонок.

#### 4

Галина Георгиевна подняла трубку, из которой звенел требовательный лилипутский голосок.

— Есть, — сказала женщина, никогда не служившая в армии. — Слушаюсь. Да, капитана Зенайшвили. Ах, господи, конечно. Немедленно.

И она пошла на второй этаж, приподняв узкую юбку, шагая через две ступеньки, сверкая застежками на чулках.

Через три минуты оттуда съехал капитан спасателя «Стремительный». За плечами Зенайшвили горизонтально тянулся черный штормовой плащ. Капитан выбил задвижку телом. Секунда — и от капитана остались только тяжелые слова, которые, гремя, скатывались по лестнице:

— Штурмана, панымаешь! Секстаном сахар колоть этим штурманам! Створы не видят!

«Ай-й-й», — закричал на улице мотоцикл, уже присланный из Управления. На развороте он ударил фарой. Вывеска, как кошка из темноты, повела фосфорическими глазами-буквами: «Межрейсовый дом отдыха моряков».

Зенайшвили улетел и будто смахнул с мира весь снег своим плащом. Витенька и администраторша вышли на крыльцо. На ясном снегу, оборотившись лицом к океану, стояли Локтепятков и Ефимыч. Справа, у большого силуэта Локтепяткова стоял чемоданчик побольше, возле Ефимыча — чемоданчик поменьше. Это выглядело так симметрично и невесело, что радист подумал, что вот-вот должен подойти поезд куда-то в навсегда.

На плечах у друзей, далеко на горизонте поднялась красная капелька, и, описав микроскопическую дугу, пропала. Этот сигнал бедствия был похож на булавоочную головку в бескрайнем хаосе. Булавоочка кольнула женщину в ее беспощадное сердце. Она подумала о том, что, может быть, завтра эти беспорядочные люди там, в океане, будут неслышно кричать. А ручки свои, которые им сейчас деть некуда, тянуть к звездам, сквозящим сквозь пальцы.

— Эй, охломоны, — грубо сказала женщина, — идите домой.

Моряки слышали окрик только со второго раза. Не глядя на администраторшу, будто ее не существовало в природе, прошли в дверь.

— Неположительные вы люди. Несамостоятельные.

Ефимыч резко обернулся.

— Положительный человек, Галочка, это когда его в гроб положили. Лежит причесанный, при галстукке. И водку не пьет.

## 5

А когда радист, весь охваченный норд-остом и философским пессимизмом, вздрагивая телом и душой, явился на пороге, в комнате творилось что-то непонятное. Локтепятков лежал на кровати, его били разнообразные судороги, а трал-мастер, держась за живот, упирался головой в шкаф. Они смеялись.

— А кальсончики-то мои, — квахтал Ефимыч, утирая розовую слезу с гематомочки под глазом, — подштанники... небось над Японией уже пролетают... хи-хи-хи...

— Га-га-га, — изнемогал поцарапанный Локтепятков, — над самым Токио ножками стучат — ку-ку, мол, приветик, мол, из Расеи...

Витенька бросил в плевательницу зуб, который до сих пор зачем-то носил в кулаке.

### *Стихи из тетради радиста Вити*

*Нарыдай слезы  
Хоть море  
Занавес опустится,  
Час пробьет.  
Переедет  
Колесо истории  
Индивидуальный твой  
Живот.  
Что ж теперь?  
В тощице черной,  
По бессмертию  
В возвышенной тоске  
Мне  
Повеситься  
В уборной  
От штанов  
На старом  
Ремешке?  
Ну, а люди?  
Вон они, хохочут.  
Пожевали,  
Под гитару спели  
И опять себе  
Ворочают  
Эти... как их...  
Крупные панели.  
Смерть придет,  
Придет она, хоть тресни.*



*...Под окном  
Строителя везут,  
А в окне  
Строителю песню  
Новые строители  
Поют.  
Можно к вам?  
Пустите-ка погреться  
У меня до вас  
Такая цель:  
Дайте вашего  
Строительного хлеба,  
Дайте эту...  
Крупную панель...*

## **ВСАДНИКИ НА БЕРЕГУ**

### **1**

Они бок о бок прошли до первого закоулка. Свернули. Нужно было начинать, и Мальчик сказал:

— Н-ну?!

Он хотел, чтобы это прозвучало грозно, но голос сорвался. И пока Мальчик злился на себя за это, бригадир неторопливо шевельнулся. Мальчик почувствовал, как, проколов сорочку, в живот ему уперлось что-то острое. Мальчик не сразу понял — нож! Шарахнулся. Всей спиной и затылком грянулся о камень. Стена.

Из-под мышек поползли по бокам медленные капли пота. За черным плечом бригадира, в пяти шагах, мир стал жить странно-замедленно. В поле зрения двинулся черный автомобиль: сначала фары, потом кабина. Машина тихо исчезала, таща за собой красную ленту стоп-сигнала. В витрине стоял манекен — девушка с мертвыми зелеными ногами, в распахнутом пляжном халатике, из-под которого белой полоской светился бюстгальтер.

Бригадир душно говорил, брызжа раскаленной табачной слюной. Но Мальчик боялся утереться и закрыл глаза от бессилия и отвращения.

— Не для тебя эта девка, не для тебя, сопледон, не твое, — втолковывал бригадир. — А то любилку отрежу и собакам брошу, понял?

И тыльной стороной ладони ударил Мальчика в пах. Мальчик вздрогнул и хотел утвердительно кивнуть, но гордость вдруг приморозила затылок к стене.

Где-то каплея судорожно била в одну точку, была весна, все было непонятно и темно. А еще несколько часов назад океан стоял гладкий, как вода в голубом тазу. СРТ «Нырок», крохотный, словно чайник в тазу, пыхтел к берегу — заправиться водой. Весна бросила в судно горсть веснушек, от них даже бандитская рожка Сани Перебейнюха стала не столько дикой, сколько глуповато-симпатичной. Хмурый Саня, под тяжестью которого гнулись палубные доски, почувствовал весну и начал ходить неслышно. Чаще других слов он произносил слово «девочки».

Артельщик Копытов, парикмахер-самоучка и высокомерный владелец блестящей машинки, открыл на палубе парикмахерское заведение «Бриз». Ветер нес неандертальские клочья восьмимесячных бород. Чайка схватила над водой серебряную прядь тралмастера Ефимыча, приняв ее за рыбешку. Команда доводила складки на брюках до изысканной остроты — «девушкам юбки резать».

Только палубный матрос Мальчик, получивший это прозвище за свои восемь-

надцать лет, не сбрил бороды. Это была первая в его жизни борода, хоть и небольшая, но в правильных колечках, как у Зевса-громовержца в учебнике истории. Борода была нужна Мальчику для одного дела. Несмотря на изнурительную работу, он плохо спал по ночам. Он не знал еще ни одной женщины. Являлись ему видения — сцены обольщения им, Мальчиком, различных девочек женского пола. И большую умозрительную роль здесь играла борода: при знакомстве она — визитная карточка настоящего мужчины. И, хотя этот мужчина должен был обладать и кое-какими иными качествами, Мальчику казалось, что борода, по крайней мере, поддела. Вот он ее и не сбрил, решив на этот раз найти себе женщину.

Он был свободен от вахты, задолго до берега оделся парадно, и вместо резиновых сапожищ натянул туфли с невесомыми подметками, которые держали человека в сантиметре над землей.

Когда входили в порт, два самца-сивуча дрались на молу, вьевшись пасть в пасть. Капала розовая пена, и рев зверей разносился на мили окрест. Сивучиха наблюдала инцидент, грузно приподнявшись на раскинутых, как два серпа, ластах. Она была необъятна, блестяща боками. Прекрасная головка на змеиной шее напряженно колебалась. В своей молчаливой внимательной красоте она была более смертоносна, чем дураки-самцы, оружие и хлопающие с блинным звуком ластами.

— Ай да ба-ба! — восхитился Ефимыч, все захохотали, загомонили, а Мальчик радостно засвистел. И свистел, пока не занемели губы, и слюни не потекли по пальцам. Сивучи парили под водой, расставая жирные крылья, а солнце запустило лучи в глубину и лениво мешало раствору соли и дикого мяса.

На берегу посакали в ресторан. Саня, притянув за кармашек на фартуке официантку, что-то пошептал, поулыбался, и вскоре за столиком появились две девушки. Мальчик выпил несколько рюмок коньяку, и девушки показались ему мерцающе-красивыми, особенно та, что поменьше, Лена. Она была невесела и боялась красивого парня, сидевшего через несколько столиков. Лена сказала, что он бригадир у нее на работе. Бригадир все время смотрел на Лену и иногда подмигивал. Мальчик тут же возненавидел его и кивком вызвал незнакомца на улицу, чтобы проучить нахала.

Но бригадир прижал Мальчика к стене ножом. Отрезвевший Мальчик стоял, задрал свою бородку Зевса-громовержца, глядел на зеленый манекен и даже не смог бы, если б и попытался, припомнить лицо этой Лены, из-за которой все так паскудно получилось. Мальчик про себя обругал ее, пожалев, что связался.

— Что же ты молчишь, как рыба об лед? — резвясь, спросил бригадир, и тут Мальчик услышал. Он услышал быстрый голос Сани: «Куда пошли?» и торопливые шаги. Мальчик громко сказал:

— Брось нож.

На фоне витрины показался настороженный Саня, пригляделся и неслышно шагнул в тупичок. Раздалось «х-ха!», с каким рубят дрова. Бригадир, голова которого чуть не улетела к весенним звездам, опустился на землю. Саня и Мальчик навалились на него, но тот лежал плоско, как чучело для штыкового боя.

— Что мне делать с моей рукой? — озабоченно спросил Саня Перебейнюх, разглядывая кулак. — У тебя нет какого-нибудь пирамидона или аспирина?

— Что такое? — тревожно спросил Мальчик, искренне желая показать свою беспредельную преданность Сане. — Повредил? Дай гляну.

— Беда с рукой! — сокрушался Саня. — Как стукну кого — так из ботинок вылетает, как стукну — зови дворников выметать зубы... Что делать с рукой?

Мальчик нервно посмеивался, и вроде бы оправдываясь, затараторил:

— Он, гад, понимаешь, с ножом, ха... Я с ним только потолковать хотел, а он раз — и нож...

— А это вовсе и не нож, — с болью и обидой произнес очнувшийся бригадир, — это не нож, а так, предмет для слабонервных... Глядя, дурак, — он приподнялся на локте, показал лезвие, согнул и разогнул его о живот.

Саня взял предмет. Острая полоска жести, обмотанная с одного конца синей изоляционной лентой. Согнул, разогнул, хмыкнул. Протянул Мальчику. Он, порезав ладонь, смял жечь в кулаке и неожиданно для себя ударил бригадира ногой в грудь. Тот охнул, перевернулся, поджал ноги и прикрыл голову руками. А Мальчик бил и бил своими легкими ботиночками, шипя:

— Ш-шутки?! Ш-шуточки?!

Саня оттащил его, трясущегося и плачущего от ярости. Потом потоптался и нерешительно спросил:

— Ну, что делать будем?

Ему было лень драться, ему не хотелось грубостей, ему хотелось сидеть в теплом чаду и брать бокал за нежную ножку.

— Идите, идите, — сказал бригадир, мотая головой, — а я еще снежку полижу...

Он зачерпнул под стеной грязного весеннего снега и приложил к уху.

Саня и Мальчик вышли на свет. Там стояла Лена. Это она привела Саню.

— Пойдем ко мне, — сказала Лена, — пойдем скорее.

Мальчик тупо поглядел на ее зеленое от витрины лицо и пожал плечами. Лена взяла его под руку.

Саня Перебейнюх посмотрел им вслед, и опущенные плечи Мальчика ему не понравились.

— В шесть отход, не забыл? — крикнул Саня.

## 2

...Посвистывала и гудела печь, и свет ее ходил по комнате. Мальчик, тяжело дыша, упал щекой на голое плечо Лены. Его лоб светился огненной испариной и женщина утерла ему лоб.

— Теленочек мой, — прошептала в ухо, — совсем еще мальчик, да? Храбрый мальчик...

Он помолчал, прикрыв глаза. Было неприятно.

— Вот так, — думал он, — вот так... Вот все...

Он погладил Лену по лицу, стараясь сделать это с благодарностью. Лена взяла его тонкую руку и поцеловала ладонь, где в мягких гнездах сидели твердые пуговицы мозолей.

— Морячок, — пожалела, — морячок...

Так же говорила мать, когда он приходил с морей, с таким же напевом:

— Морячок-ок мой...

И накладывала варенья. Мальчик почувствовал во рту вкус его, засахарившегося за долгие месяцы, пока он добывал селедку. Он отрывисто вздохнул и загрузстил. И почувствовал, как хорошо лежать не на качающейся койке, а в этом минометном тепле, когда пожалела женщина.

За дверью раздался умоляющий кошачий мяв. Лена встала и приоткрыла дверь. Урчащий кот сквозанул в тепло, таща за собой клокья ночного холода. Лена достала ему из кастрюли облепленную вареной капустой кость. Кот, причитая, утащил ее под стол, и оттуда донеслись звуки борьбы. Потом Лена засыпала в печь уголь, и ее силуэт стал очерчен огненной линией. Мальчик впервые видел совсем обнаженную женщину и смотрел, а когда она повернулась к нему, спрятал глаза. Лена пришла в постель, и Мальчик погрел ее ноги своими.

— Фанза еще от японцев осталась, — сказала Лена, — все время топить приходится. Выдувает в момент.

— А кто это за тип, твой бригадир? — ревниво спросил Мальчик. — Ты с ним тоже?..

— Нет. Но он добивается.

— А почему же ты не с ним, а со мной?

— А я не только с тобой.

Мальчик весь ослабел и замер, будто раньше не подозревал об этом. Однако настойчиво спросил:

— А он?

— Он подонок и гад. Мы в сетепошивке работаем, знаешь, тралы чиним. Он втихаря порежет ножом, а потом кричит, что ленивая, работать не хочет. И наряд мне не выписывает. Я, может, вправду, работать не хочу, но делаю же...

— Ты бы так и сказала, что он виноват!

— Мне не поверят: я и пью, и гуляю, а он передовой, бригадир.

— Чего же ему нужно?

— Хочет заставить, чтобы спала с ним. Фигушки. Я свободная: с кем хочу — сплю. А не хочу — фигушки. Я, говорит, ой какой настырный. Знаю, говорю, настырный. Только не добьешься! Добьюсь, говорит, запоешь у меня свиным голосом...

Лена вздохнула. Мальчик подумал, спросил:

— А почему ты... гуляешь?

— От чего люди гуляют? — рассудительно сказала она. — От тоски. Каждый день тралы, тралы... Так и мерещится — запуталась в этих сетках. Домой придешь — холодно. Топить надо. Есть же страны, где всегда тепло, и море, как молоко, и делай, что хочешь...

Лена показала на бумажную репродукцию, которая была прикреплена над кроватью тускло мерцающими кнопками. Уголь в печке снова разгорелся, и можно было видеть, как по берегу моря ехали смуглые полуобнаженные всадники — мужчины и женщины. Волосы относил ветер, и фигуры при шевелящемся огне стали неправдоподобно живыми, будто картина была малиновым окошком в иной мир, который начинался по ту сторону грязных обоев.

— Я ее в библиотеке ukrала. Только художника забыла... на Гоголя похоже... Гоген, вот... Как-то просыпаюсь, а рядом толстый мужик лежит, храпит, а я и как зовут его не помню. Голова болит, на работу надо... А там, смотрю, люди едут свободные, соленые, чистые. Жалко себя стало, хоть вой. Подушку прокусила, перья ем, давлюсь. А этот рядом храпит, и волосы из носа пучком торчат. Я ему их спичкой и подожгла — как с ума сошла... Он — меня бить спросонья, а я страшная, в перьях, рычу... Он штаны под мышку и деру... А мне это смешно... Смеюсь, смеюсь, остановиться не могу, чуть не задохнулась... Вот такая хохма была через эту картинку... Чудно.

Мальчик, волнуясь, сказал:

— Хочешь, я на тебе женюсь?

— Хочу, — ответила она, и Мальчик вдруг понял, что предложил он, сгоряча, не хочется ему жениться, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но отказаться от своих слов все-таки не смог.

— Давай тогда поженимся, — бодро сказал он, чувствуя страх оттого, что какая-то сила опять втягивает его во что-то непонятное и ненужное.

— Испугался, — злорадно сказала Лена, внимательно рассматривая его лицо, — конечно, испугался...

— Кто испугался, я? — тонким голосом сказал Мальчик, приподнимаясь на локте. — Я испугался?

Он был встрепанный, с лохматой бородкой, смешной.

— Лежи, — успокоила Лена. — Ты храбрый мальчик, ты бы женился. Но я пошутила. Ничего из этого не выйдет, я же старше тебя.

— То-то, — с шутливой угрозой сказал Мальчик, понимая, что все-таки, конечно, он струсил, и что Лена это прекрасно поняла.

«А ну ее к черту! — внезапно подумал он. — Я ее больше и не увижу...»

— Светает, — сказала Лена.

Уже было видно, как дешевенькие ходики с лисьей мордочкой водили глазами и показывали половину шестого.

— Отход! — подумал Мальчик и стал быстро собираться. Спрятавшись за грядушку, натянул брюки, ботинки и потоптался у кровати, как бы проверяя, хорошо ли сидят.

— Ну, я пойду... А тебе на работу?

— Да, скоро. Я еще полежу.

Мальчик наклонился и слегка прикоснулся губами к ее серым рассветным губам:

— До свиданья.

— До свиданья, — вежливо сказала Лена. — Дверь прихлопни хорошенько.

И отвернулась к стене еще до того, как Мальчик вышел. На постель вспрыгнул кот и, мурлыча, привалился теплым боком к Лениной спине.

### 3

Мальчик бежал, прыгая через лужи, затянутые ледком. Он бежал, тоненький и длинноногий, представляя себе, как крикнет вахтенному: «Приветик!», и вахтенный проводит его завистливым взглядом. Потом выпьет в кают-компании горячего чая, а Саня Перебейнюх просипит, подмигнув:

— Ну как оно, а?

А он деловито ответит:

— Порядок. А ты как?

Улица спускалась к морю круто, как лыжный трамплин, и когда Мальчик взбежал на взгорбок, с какого лыжники, отрываясь, взлетают на воздух, он увидел бригадира.

— С добрым утром! — приветствовал бригадир, отделяясь от забора. — Жду, жду, аж зубы смерзлись. Нет, думаю, жди, ты человек честный, должок отдать необходимо...

Мальчик совсем забыл о существовании этого человека. А он опять встал на его пути, и за ужасными его плечами лежало море.

— Ну что ему, что ему нужно, что ему нужно от меня? — с лихорадочной тоской подумал Мальчик.

Он не мог понять нечеловеческого упрямства этого матерого мужика. Сердце Мальчика стало биться не вперед-назад, а вверх-вниз, его удары чувствовались в горле и желудке. Мальчику захотелось побегать вверх, бегал он хорошо, и бригадир наверняка не догнал бы его. Но Мальчик представил, как он колотится в дверь к Лене, и понял, что назад пути нет. Он рванул с дороги камень, но пальцы, как во сне, соскользнули, — камень примерз.

— Молодой, а нервный, — отметил бригадир.

Мальчик изо всех сил ударил пяткой, так что сверкнуло в глазах, и камень выскочил из гнезда. Мальчик подхватил его.

— Нервный какой, — озабоченно сказал бригадир, — смотри-ка, какой нервный... Ну, раз ты такой нервный... — и не спуская глаз с камня, достал нож.

И показал, что он не гнется.

Мальчик, сделав обманное движение, бросил камень. Он попал противнику в плечо. Бригадирова рука дернулась вверх, нож трепеща и сверкая, пропал за забором. Дико торжествуя, мельтеша кулаками, Мальчик бросился на бригадира. Тот отступил, сноровисто ударил Мальчика в бороду, потом под дых, а когда Мальчик согнулся, сверху, в затылок, — и отступил вбок. Мальчик, в позорной позе, неся зад выше головы, побежал на четвереньках. Руки подогнулись, земля, вся в замерзших весенних шипах, прыгнула ему в лицо.

4

Он очнулся минут через двадцать, дотащился до прибоя и стал обмывать лицо. Ладони покраснели. Пошел к порту, но сообразил, что идет в противоположную сторону. Постоял, медленно развернулся, стараясь не потерять равновесия. Голову жгла какая-то каша: огненное лицо женщины, коньяк, огромный усатый кот, черные бригадировы плечи, варенье, всадники, которые маячили далеко, между подъемными кранами. Мальчик шел за солеными всадниками, оставляя на песке пьяную цепочку следов. Выходило солнце, на молу кричали сивучи, заводя свои любовные игры. Мальчик шел с разодранной мордой, трудно разводя слипшиеся от крови ресницы. И, помогая себе идти, рычал на каждом шагу: порядок!.. порядок!.. порядок!.. по-рядок!.. порядок!.. порядок!.. пор-рядок!.. пор-ря-док!.. пор-рядок!..

*Стихи из тетради радиста Вити*

*На воде,  
На мокро-синей,  
Будто ребяенок синил,  
Карандаш слюня,  
Голубая  
Из Юкона льдина —  
В две иглы  
На ней блестит лыжня.  
Шел какой-то  
Чарли  
Или Додди,  
А за ним,  
Естественно, —  
Следы,  
А следы,  
Сломало половодье,  
Утащило  
В океан воды,  
Вечность  
Синезубую волною  
Объедает  
Хрупкие края.  
Что-то станется  
С моей лыжнею  
В целине пушистой  
Бытия?*

Космический корабль с планеты Квипрокво, где обитали мыслящие растения, бесшумно опустился на луг. Появилась Женщина-сирень. Шелестя маленьким зеленым платицем, ступая, словно по камешкам, по головкам ромашек, дабы не помять братский народ травы, она направилась к Локтепяткову. Ромашки под ножками пришелицы не гнулись, словно пчелка перелетала с цветка на цветок. Толстый мордатый шмель земного происхождения сопровождал Женщину-сирень, то зависая недоуменно в воздухе, то выстреливаясь пулей вдогонку. Квипроквянка приблизилась, протянула пятилепестковую нежную руку и опустила ее на нос Константину. «Форма приветствия», — сообразил Локтепятков, ища на небесном теле пришелицы нос. Она нежно зашелестела, прислонилась и пролепетала на неземном языке:

— Полундра, бичи, кончай клопа давить!

Локтепятков с усилием разлепил веки. Окна едва синели, выла метель. Трещала где-то на раме окна отклеившаяся бумажка. В мутно-желтом свете лампочки посреди номера стоял Саня Перебейнюх в своих знаменитых сингапурских плавках, держа в громадном кулаке флакон туалетной воды «Сирень». Саня сунул в мохнатую ноздрю пипку флакона и нервно втянул в себя воздух, желая определить процент содержания спирта.

— Брось, — сказал Локтепятков. — Вода есть вода. Она не горит.

На Саниных плавках сияло лицо «Незнакомки» Крамского. Оно, гордо поднятое, врезанное меж волосатым торсом и меховыми звериными ногами Перебейнюха, производило на зрителей невыразимый эффект: некоторые хихикали, некоторым хотелось пойти повеситься. Витя-радист, впервые увидев это, серьезно сказал: «Все, бичи, пора на наш шарик атомный ковер постелить». Какой фирмач, потомок русских эмигрантов, вспомнил родину в бананово-лимонном Сингапуре, Сане было неведомо, но мануфактуркой своей он очень дорожил.

— Ух, м-м-ать, — выдохнул Перебейнюх, с отвращением брякнув флакон на тумбочку и осторожно ощупывая голову. — По балде будто как шкентелем въехало. — Он пошарил по столу, разглядывая бутылки на свет лампочки. — Все стрескали! И куда в нас только влазает, в сволочей!

Перебейнюх со стоном рухнул в постель, где тряпки были вздыблены, как горный хребет.

Локтепятков привстал, опершись на локоть, обтянутый тельняшкой:

— Сань, подари плавки.

— Спешу и падаю.

— Что ты за них уцепился-то?

— Хочу ношу, хочу на стенку вешаю.

— Хочешь ченч? На бутылку.

— Пока Нюрка лавочку откроет, я сдохну.

— Нет, прямо сейчас.

Саня свесил ноги с кровати:

— За такие шутки...

— Ну, не хошь кулеш, ничего не ешь.

Локтепятков деланно зевнул, лег на спину, натянул одеяло до подбородка и прикрыл глаза.

Раздалось рычание и хруст панцирной сетки. Саня вскочил, спустил электрически затрепавший нейлон, и шерсть на его нижних конечностях встала дыбом. Королевским движением ноги бросил плавки Локтепяткову на одеяло:

— Все пропьем, но флот не опозорим!

Локтепятков встал, подошел к Саниной кровати и сунул за нее руку, по стеночке. По полу гулко выбежала бутылка, вскочила на ковровую дорожку и бесшумно ткнулась в чугунные Санины ногти.

— Еш твою клеш! — изумился голый Саня. — Я же вчера ее сам спрятал! Что ж ты, пехота тамбовская, мое на мое меняешь?

— Одерживай, Саня, одерживай! Ченч есть ченч!

— А пошел ты... — Перебейнюх сорвал с горлышка блестящую бескозырку и, уперев левую руку в бедро, правой поднес бутылку ко рту.

— Саня, — заметил Локтепятков, — если тебя побрить, Саня, с головы до пяток и поставить в детском парке, ты будешь вылитый статуя пионера-горниста...

Ефимыч, услышавший во сне бульканье, открыл пороссячи глазки, и, увидев обнаженную натуру, подтвердил:

— Ага. Литтл бой с большой трубой...

Саня замычал и с исковерканным лицом, с закрытыми глазами начал судорожно шарить по столу. Хапнул вчерашний обедок и вдруг взвыл:

— Чей носок, падла? Дракон, почему твой носок на столе?

Боцман Масленкин, словно и не спал, механически отозвался:

— Спроси чего полегче. Браток, оставь глоток.

Локтепятков положил еще теплые плавки на тумбочку, раскрыл складной нож и аккуратно сделал из нейлона лапшу. Незнакомкины глаза напоминали ему Марью. И он не хотел, чтобы эти глаза выглядывали из ширинки.

Перебейнюх вытаращился на Константина, затем с усилием проглотил кусок горбуши, выплюнул кость в кулак и спросил:

— Слышал, есть такая страна — Италия?

— Ну? — насторожился Локтепятков. — А что?

— А то, что таких, как ты, там зовут кретино.

## 2

— Что ж ты, едреный корень, жениться едешь, а клифт порядочный жмешься построить? В гимнастерочке мотаешься, пехота тамбовская, — сказал боцман наутро, разливая, остатки «отходной» пол-литры.

Локтепятков оценил стаканы, не обделил ли его боцман, и, давясь, выпил. Он был непыщущий, но, как говорится, купил, так ешь.

— Гинастерочка, — уклончиво сказал Локтепятков, невзначай беря последний кусок колбасы, — гимнастерочка-терочка. На материке все куплю.

Была у Локтепяткова такая привычка — в рифму говорить. Другой человек, например, скажет: конец. А Локтепятков — конец-монец. Или кто произнесет: мачта. Локтепятков обязательно добавит, не вслух, так, внутри себя, в мозгах: вачта. За это, когда служил, слыл в казарме шутником и балагуром.

— Все куплю, — повторил Локтепятков убежденно. — Я не жадный. В Москве товар настоящий, из загранки, видно, за что шайбочки отдаешь.

— Купишь, — просипел Саня Перебейнюх, который уронил свою порцию в пасть, словно в глубокий колодец, так что даже не услышал, как где-то там, далеко внутри, упало.

— Ты купишь... Облупишь!

Но сбавил на полтона:

— Надо бы еще выпить...

— Выпить-липить, — неопределенно вздохнул Локтепятков.

— Выпить — закусить! — бодро поправил Ефимыч, потирая руки.

Локтепятков вдруг уставился куда-то в верхний правый угол комнаты. Все



посмотрели туда же и увидели преинтересную штуку: две стены сходились под прямым углом, а сверху, тоже под углом девяносто градусов, на них лежал белый потолок.

— Да-а, — протянул боцман Масленкин, медленно переводя взгляд на Локтепяткова. От злости глаза боцмана прищурились и скосились вовнутрь, будто он разглядывал козявку, севшую ему на нос. — Что ты за человек, Локтепятков? Как тебя нет, так и вспоминать про тебя не хочется...

— Не заводись, Дракон, не заводись, — вскрикнул Ефимыч, который еще не потерял надежды на вторую бутылку.

Боцман продолжал:

— Сидишь, как с-сука на сене, на своих пятаках...

Локтепятков, которому разговор о его деньгах был крайне неприятен, обиженно заорал:

— Мою водку жрете, да еще лааетесь!.. Вы побольше моего получили...

Ефимыч захихикал:

— Бог даст денежку, а черт — дырочку. И пойдет божья денежка в чертову дырочку. Это просто, Локтепятков. Чего-чего, а это — раз, два — и опять на зубариках играешь... А ты чего кипятишься, Дракон? Ты так живешь, он иначе. Ты лег, свернулся, встал, отряхнулся — вот твоя житуха. А он домашности хочет, невеста есть... И за невесту нужно выпить. Правильно я говорю, Локтепятков? Корову купишь, за корову надо выпить...

— А то пукнет — рога отвалятся, — застенчиво вставил Саня, — надо выпить за прочную корову.

— Да, — с чувством сказал Локтепятков, — за корову — выпьем.

И, отвернувшись, стал копаться в бумажнике.

### 3

Коровья тема была жизненной слабостью Локтепяткова. Хотел вернуться он в свое родное Пузево, где у согбенной сатиновой мамы имелся один шатающийся зуб и такая же ненадежная хата. Мама недавно умерла, подавившись кислой вишенкой, но Локтепятков все равно хотел вернуться, зажечь крепко, дом купить. Хотел жениться на Марье, которая смотрела с фотографии над его койкой. И хотел заиметь корову. Четырехногий теплый образ ее среди холода и беспреывной качки бытия вызывал чувство устойчивости и жизненной надежды.

Вот он и подался на Дальний Восток, на рыбалку, зарабатывать. А море било его, как сукиного сына, и полтора водяных года остались в нем воспоминанием сплошной тошноты. Но он кидал, кидал, кидал зюзьгой селедку, и страшно было глянуть на его сине-зелено-черную физиономию старательного утопленника.

Как-то Ефимыч пожалел его, переломившегося над поручнями, сказав в оранжевый зад, обтянутый робой:

— Ну что ты, пехота тамбовская, маешься. Списывайся, пока живой.

На что Локтепятков, не прекращая своего занятия, выставил назад фигу. И остервенело покрутил ею.

### 4

Когда «Нырок» напоролся на камни, Локтепятков увидел волну. Страшная, она дымилась снегом, была покрыта, как мурашками, мелкими волнятками, и потоки пены мочой виляли между ними.

Локтепятков начал молиться, хотя был неверующим, и ни одной молитвы не знал. Бессловесно молился его организм. Организм бросил ломик, которым обка-

львал лед. Организм скукожился и повернулся спиной к волне. Организм уцепился десятью хватками за леер.

Траулер мертво сидел на камнях.

Гора воды шла на него.

Волна была так велика, а «Нырок» так мал, что показалось: суденышко самоходом двинулось в тело горы, стало исчезать в нем, и контур исчезновения был очерчен ослепительно-нарядной линией пены. Вот форштевень ушел в стену, вот брашпиль, облитый льдом и превратившийся в полупрозрачный кокон с мутным механическим скелетом, ушел в стену; вот стена, стоя на косой пенной полосе (кренномер в рубке показывал двадцать девять градусов), двинулась по палубе, беззвучно съела Ефимыча и Саню Перебейнюха, и они в своих оранжевых робах еще миг виднелись апельсиновыми пятнами.

И Локтепятков увидел рожу. Она нарисовалась на стене ключьями пены. Дикая рожа природы с седыми, стоящими дыбом патлами. С бельмастым глазом из круглой льдины, с пастью, где по единственному клыку стекала пузырящаяся слюна.

Пасть наделась на Локтепяткова, и он, как Садко, очутился во внутреннем пространстве воды.

В этот момент Господь Бог проткнул пальцем тучи и направил вниз ослепительный солнечный прожектор, видимо, желая напоследок показать матросику сказочные красоты. Подводное царство празднично осветилось, оно было наполнено миллиардами мечущихся, гудящих, звенящих, сияющих пузырей и пузырьков, среди которых, панически работая плавниками, несомый куда-то кверху брюхом, промелькнул акуленок. Локтепяткова непреодолимо-мощно-нежно отняло от леера, неслышно, как волос, оборвало льня, которым матрос был привязан к лебедке, несколько раз перевернуло в невесомости, заботливо обвело вокруг надстройки, перенесло через фальшборт и повлекло вниз, вниз, вниз, во мрак.

Локтепятков где-то читал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь. «Ни хрена подобного!» — подумалось ему. Теряя сознание, он просто увидел себя со стороны: его тело, словно кукла, раскинув члены, идет в глубину километр за километром, и эту куклу кушают акулы, отгрызая несущественные руки, ноги и голову, а сам он, обозначенный в судовой роли как Локтепятков Константин, или, вернее, не сам он, а его вечная неистребимая сущность, которую не загноишь ни в какие буквы и не обозначишь никакими словами, та бессмертная сущность, в которую человек абсурдно верит до последнего, она, подобно воздушному пузырю, помчалась вверх, вверх, пробила пленку поверхностного натяжения, взмыла под самые тучи, в бескрайнюю безопасность, и хитро глядит, как с вертолетика, на далекий, медленно кривляющийся океан с его крохотными безвредными волнишками.

«Дурак, — подумала сущность свысока, с поднебесья, о той кукле, которая стоя, как гвоздь, погружалась в бездну, — говорил тебе Ефимыч: отверни голенища, сапоги тебя тянут, с-сука...»

Следующая волна посадила обезумевшего Локтепяткова на палубу, на то самое место, с которого взяла, и только что к лебедке не привязала. Локтепятков уцепился за какую-то лебедкину железку и на дыбом стоящей палубе попытался поклониться на три стороны, как это делала певичка Люська в невельском кабаке «Чайка». А затем приступил к исполнению песни «Моряк вразвалочку сошел на берег, как будто видел он пятьсот Америк». Едва начав, изверг из себя полупереваренный обед: щи, плов, воскресный кофе — все это вперемешку с горькой водой. И овладело им восхитительное чувство безопасности, особенно пронзительное оттого, что он один-единственный обладал им среди сплошного страха, неразберихи и мракотятины. Это было чувство непотопляемости в мерзком жидком мире.

Теперь в любой ситуации на поверхности земной Локтепятков мог сделать тю-

тью и взмыть под облака. Что ему до этой куклы из протоплазмы, в которой болтается пара стаканов океана? Локтепятков посмотрел на левую руку, с которой неведомо когда сорвало и резиновую, и нитяную перчатки. Он увидел руку из немыслимой дали, как в сильнейший перевернутый бинокль: ошпаренная водой, она была красна, крохотна и скрючена, как ручонка новорожденного. Локтепятков смотрел на нее, не мигая, затем моргнул, и во время этого движения век вдруг перестал понимать, что это за предметик с пятью отросточками из общего корня шевелится перед ним. Кажется, это было то, что присоединялось к чему-то такому же слабому и мелкому, унижительно коченевшему от холода и ужаса. Локтепятков изо всех сил зажмурился и дал себе клятву завязать с морями.

## 5

В Москве Локтепятков неожиданно для себя сильно разгорячился от покупок, закипел и запел душой, как чайник. От него прямо-таки поднимался горячий воздух, и мир за локтепятковыми плечищами ломался, змеился и приобретал нереальные формы.

Купил нейлоновую сорочку, купил галстук-бабочку, купил костюм, купил носки, купил туфли, купил новые трусы. Переодевался по частям в туалете, там же бросал старье. На улице спохватился, что сапоги еще крепкие, вернулся. Но вещичек уже не было. Хотел потребовать с туалетной работницы, но увидел себя в зеркале и загордился связываться. Итальянский клифт, французский галстук, чешские корочки, югославская рубаха как-то не располагали к скандалу в сортире.

— Гау ду, — сказал Локтепятков в зеркало, и ноги понесли его в ресторан.

Ресторан попался полузаграничный — «Баку». Было жарко. Локтепятков заказал воды, заказал плов, потому что его часто готовил кок на «Нырке». Потребовал вина, чучмекского названия которого прочитав не осилил, а ткнул в меню:

— Это.

Официантка принесла в узорчатой чашке воду с марганцовкой — помыть руки перед пловом, — и полотенце. Локтепятков понюхал жидкость, сказал себе: «о'кей — мокей», и важно выпил. Пришла кормилица с подносом, увидела пустую чашку и поглядела вокруг стола, куда дел клиент воду.

— А где?.. — приподняла она пиалу.

— Выпил.

— Вы — пил?

Локтепятков начал понимать, что сделал что-то не так, и на всякий случай решил сгрубить:

— А чего теплую подаешь?

— Это была вода... руки помыть, — испуганным шепотом сказала официантка.

Уши у Локтепяткова шевельнулись: сначала одно, потом другое. Он хапнул воздухом и зашумел:

— Вот это порядочки-морядочки! Ты мне еще шайку подай, ноги помыть! Советский труженик морей поесть пришел, а его купать-лупить хотят! Книгу-мигу давай!!!

Напирая на слова «советский» и «труженик», вытребовал жалобную книгу, и, держа на ней для остротки одну руку, другой съел плов и выпил вино. Из-за шторы в конце зала выглядывали распаренные кухонные девочки, хихикали. Захмелевший Локтепятков принимал львиные позы, щурился, довольный своей внезапной популярностью в столице нашей родины. Хвалил себя за напористость и ум, за то, что так ловко взял верх над всеми этими дураками.

И думал о себе, почему-то в третьем лице:

— Локтепятков, он... Локтепятков еще покажет...

В райцентре Локтепятков не поспешил и взял такси до своей деревни, до Пузево. Когда подъезжали, все внутри задрожало: вот он, вот он дубовый бор, на дороге желуди, трещат под колесами. Сюда ходили с Марьей, бор был гулкий, высокий, как храм. Ночью сквозь ветви падала оземь луна, разбивалась в голубые лужицы. Здесь, на траве, перед уходом в армию, уговаривал, чтоб шла за него. Рыжие волосы, как сухой ручей, текли по траве. Целовать позволяла всюю, а больше — ни-ни:

— Отслужишь, тогда...

Смеялась:

— Почем узнаешь, верна была или...

— Не могу... — напирал Локтепятков, уже остриженный под ноль.

Гладила по новенькой лысине, плакала:

— Самой невмочь, родненький, только давай погодим...

Письма писала: помню, тужу. Потом учиться пошла на физика, письма порежели. Потом вовсе перестали. Локтепятков жаловался: «У меня от этих конвертов весь язык в клею, пишу, пишу, а ты не пишешь, не пишешь...»

...Неподалеку от деревни вдруг въехали в город, которого тут сроду не было. Асфальт, панельные дома, витрины с неживыми девками.

— Атомный городок, — сказал шофер, — в два года сгрохали. Тут у них под землей синхрофазотрон закопан. Частицы разбивают.

— Чем? — оторопело спросил Локтепятков.

— Топором, — веско сказал шофер и подумал про Локтепяткова: «деревня», хотя сам не знал, чем же разбивают эти самые частицы.

«Трон-матрон», — подумал Локтепятков, а когда у самой деревни мелькнул пятачок, где когда-то молодежь по вечерам собиралась на «Матаню», закричал, — «Ух, давали! У империалистов в Америке небоскребы шатались!»

Вдали показался Марьин дом. Локтепятков сжал зубы и зашептал:

— Гони! Чтоб с пылью. На пыль рубль кидаю.

Шофер прибавил газу, но Локтепятков вдруг закричал:

— Сто-ой!

Он увидел Марью. Точно, Марья, она, Марья. С пышно завитыми волосами, стояла на дороге, размахивая живой белой курицей. Марья весело ругалась с бабкой Феклой, которая стояла напротив в классической позе большого скандала. Марья тыкала в спину курице, где виднелось чернильное пятно:

— А вы не видите, что меченая?

— Ты ее ишо акварелями разрисуй, — злобно хохотала бабка.

— Дуры, деревня, — сказал шофер, который сам недавно вылез в город из соседнего села Гвоздево.

Локтепятков обиделся:

— Молодец, рыжуха! В обиду не дается.

Картинно вылез из такси и пошел к женщинам. Бабка Фекла захлебнулась на полюсlove и уставилась на Локтепяткова. Марья обернулась. Локтепяткову захотелось тут же уйти, уехать, улететь к чертовой матери на Луну или Марс и оттуда смотреть и плакать — так невыразимо красива была Марья. На руках у нее был маникюр и на ногах — он-то и доконал Локтепяткова — тоже был маникюр. Марья стояла босиком на засохшей коровьей лепешке, и ногти, покрытые серебристым лаком, лежали на этом самом, как нитка жемчуга или что-нибудь еще, куда более драгоценное.

— Вот оно, образование, — подумал Локтепятков, не сводя глаз с Марьиных ног. — Начинается.

Шумно сглотнул:

— Здравствуйте, Марья Тимофеевна.

Марья оглядела зеленый костюм Локтепяткова, красную сорочку, ярко-желтые туфли и легко сказала:

— Привет.

— Не желаете ли до дому прокатиться, — сипло произнес Локтепятков, — на машине.

— Зачем же, — отвечала она, — здесь всего пятьдесят метров.

— На машине же, — глупо повторил он, — на автомобиле...

— Надолго в родные пенаты? — переменяла она тему.

По жесту Локтепятков понял, что пенаты — это Пузево.

— Дык, — проямлил он, — дык еще не знаю, как оно все...

И вдруг брякнул:

— Письма-то получала?

— Получала. Дома еще не был? Ну, езжай. Заходи как-нибудь.

И она пошла, держа курицу одной рукой, покачивая бедрами, как не умеют, ой не умеют деревенские девки: так, что юбка штопором завивалась вокруг ее бодрых ног.

— Ой, — подумал Локтепятков, — ой-ой-ой...

## 7

Локтепятков распечатал заколоченную избу. Вошел, постоял, ушел. На полу, в пыли, так и остались следы — до середины помещения и обратно.

Материна могилка была не ухожена.

«Оборудую, — подумал Локтепятков, — оградку, скамеечку, крест покрашу...»

А вот грустить как-то не грустилось — все время в голову лезла Марья. Больно холодно обошлась.

«Ничего, — подумал Локтепятков, — Локтепятков, он...»

И, кое-что придумав, пошел к Марье.

Парило к дождю. Локтепятков прел в наглухо застегнутом пиджаке, при бабочке, пил с блюдца чай.

Марья, косясь на часы, рассказывала, что работает в новом городке, на синхрофазотроне, что живет в деревне пока, скоро дадут квартиру.

«Трон-ерундон», — подумал Локтепятков, полез за платком и, как бы невзначай, уронил на пол пачку пятерок весом в пятьсот рублей.

Он все мысленно отрепетировал. Вот он роняет деньги, Марья вскакивает:

— Ах, деньги уронены!

Тогда он, Локтепятков, лениво спрашивает:

— Какие деньги? Ах, эти... Пусть лежат, надоели эти деньги-меньги...

— Нет, поднимите, — настаивает Марья, — а то я не могу чай пить.

— Ну, раз так, — с тонкой улыбкой замечает Локтепятков, — тогда подниму, только потому, чтоб вам аппетит не портить.

Поднимает деньги, брезгливо прячет в карман. И непринужденно продолжает беседу.

И вот сначала все шло по плану. Деньги были уронены.

Но Марья никак не отреагировала.

Видела ведь, видела, что пачка упала, но продолжала что-то рассказывать. Что именно, Локтепятков моментально перестал понимать. Он вспотел еще больше, заерзал. У Марьи ноздри побелели от сдерживаемого смеха, и она спросила:

— Что-нибудь произошло?

— Нет, — отвечал Локтепятков. — А что, например, могло произойти? А?

Марья пожала плечами.

Воцарилась тишина.

— Да-а, — залопотал Локтепятков, — а то, знаете, бывает-случается: ничего не происходит, а потом вдруг — бац — и случилось, произошло... Что-нибудь такое какое-нибудь... А потом думаешь, думаешь: что, как, откуда, почему — непонятно.

Он сыпал вздор, лихорадочно соображая, что делать. Проще всего, конечно, было поднять деньги и сунуть в карман. Но Локтепятков в каком-то прозрении почуял, что Марья раскусила его план. И теперь, несмотря ни на что, нужно было делать вид, что оборонил пачку нечаянно.

— Ты извини, — сказала Марья, — мне нужно идти. Встреча с одним человеком.

В другой раз Локтепятков бы живо заинтересовался, что еще за «один человек», но сейчас он понял одно: нужно уходить из этого места. Он деревянно вышел и тупо глядел, как Марья запирает дверь.

— Вот так раз, — думал он. — Ёк-макарок. Потом пойдя, докажи...

— Ты ничего не забыл? — спросила она.

— Н-н-нет, — выдавил Локтепятков. — А что я мог забыть? А?

— Бывает, — сказала она, — случается... Сначала ничего не забываешь, не забываешь, а потом — бац — и забыл...

— А чего я мог забыть? — с натугой обиделся он. — Что я, дурак какой — забывать...

## 8

«Один человек» оказался физиком из городка — невысокий изящный паренек в синих джинсах. Он подкатил в коляске, которую ему одолжил председатель колхоза. Физик играл заправского кучера, говорил «чаво», «табе» и называл Марью «ваше благородие».

Марье это нравилось, она хохотала.

Локтепятков нахально объявил, что тоже поедет, и первым полез в коляску. Марья вздохнула и представила мужчин. Физик сказал «очень приятно» и продолжал болтать.

Поехали.

Локтепятков злился, глядя на физиковы джинсы с английскими буквами на заднем кармане.

«У, ковбоек, — думал он, — «очень приятно»... Вмазать тебе по шее, будет приятно...»

Далеко в лесу послышалось шмелиное жужжание: громче, громче, — из-за поворота, почти лежа на боку, вывернул мотоциклист со стеклянными адскими глазами. Машина проскочила, дунув в душу опасным ветерком. Локтепятков подумал, что это тоже, небось, физик — гад из городка, неплохо бы его догнать и дать по торцу. Кобылка же удивленно вздохнула и — понесла. Физик откинулся назад, тяня вожжи, но силенок было маловато.

— Дай сюда, ковбоек! — рявкнул струхнувший Локтепятков, но руки у паренька закаменели.

Локтепятков не без мгновенного удовольствия смазал ему по уху и волосатыми ручищами вырвал вожжи.

— Тпр-р-р, га-ада! — громовым голосом заорал Локтепятков, но кобылка испугалась вконец и пошла еще быстрее. Локтепятков распустил вожжи во всю длину и бросил их на ствол придорожной березки. Экипаж, тормозя, описал дугу, постоял на двух колесах и медленно завалился. Физик выскочил, ловко подхва-

тив Марью. Локтепятков выпал, словно куль. Хотел встать, но колени задрожали. Стал обмахиваться ладонью, что-то приговаривая. Кобыла тяжело дышала, неловко вывернув голову, притянутую к березе. В ее глазах стояли фиолетовые нервные слезы.

9

В городке пошли в кафе «Нейтрино». Там все были — одна компания. Физик каждому рассказывал про случай на дороге и называл Локтепяткова «наш герой» и «укротитель кобылы». Локтепятков важничал: набычивался, говорил отрывисто, смотрел мимо людей.

«То-то, — думал он. — Локтепятков, он... ого-го...»

Он заказал много-много французского коньяку и шампанского, всех угощал и пил сам. Потом появился какой-то головастый заморыш и стал показывать фокусы с цифрами. Он мгновенно считал в уме, а физики, проверяя его, долго стучали мелом по доске. Когда ответ сходился, все начинали гудеть.

Локтепятков пытался что-то плести про вожжи, про лошадей, но его никто не слушал.

— Это мозг, — говорила Марья про заморыша, — вот это мозг!

Локтепяткову было обидно и душно в этом стеклянном аквариуме.

Начались танцы. Локтепятков остался один за столиком, издали следя за Марьей. Она была плавная, одета во что-то белое. Локтепятков вспомнил, как однажды, июньской ночью, когда в океане туман, видел парусник, наверное, один из последних в мире. Он неслышно вышел из белой мглы, в белых парусах, в неярком шаре света от бортовых огней. Минута, две, три — и будто не было его. Только небольшая волна пару раз качнула замарашку — «Нырок». Ничего красивее и печальнее Локтепятков не видел за всю жизнь. Разве вот еще Марья... Она уплывала неостановимо, а он оставался один, забытый за столиком.

Было душно.

Локтепятков спросил официантку, сколько стоит одно стекло в стене. Она, привыкшая здесь к разным затейливым шуткам, моментально придумала:

— Двести.

Локтепятков отсчитал ей двести и воздвигся, потный и отчаянный.

— Стой, — закричал он, — стой!

И музыка стихла.

— Фокус-мозговокус! — продолжал Локтепятков отчаянным цирковым голосом. — Человек-невидимка, проходящий сквозь стены!

Бросил бутылку шампанского. Обширное стекло, ломаясь, засверкало и осело. Локтепятков, в полной тишине, высоко поднимая ноги, вышел на свежий воздух.

Несколько физиков-красноповязочников, бесстрашно бросившись в пролом, скрутили фокуснику руки, но марьин физик оттер их и зашипел:

— Дуй отсюда, быстро.

И Локтепятков, у которого что-то сломалось внутри, с быстротой, необыкновенной для пьяного человека, побежал по синей лунной дороге, прямо на глазах уменьшаясь в точку.

10

В деревне его долго кидало на хрустящие плетни, он стучался в избы и просил продать ему корову. Хозяева, спросонья злые и перепуганные, кричали: «пьяная харя», а в одном месте внятно сказали, что сейчас же пристрелят из окошка.

— Эх вы, — сказал Локтепятков, — эх вы, ёк-макарок...

Приседая и кланяясь, потащился вдоль редких огней. Постучался к бабке Фекле, она одна, добрая душа, сжалилась над Локтепятковым и продала корову за двойную цену. И дала стакан самогона, чтоб не быстро очухался после этой сделки. И, артистка, попричитала над коровой: «Маня, Маня, на кого ты меня покидаешь». Цепляясь за животное, Локтепятков отправился к Марье, и, не столько вел корову, сколько она вела его. Когда Локтепятков падал, она останавливалась, ждала.

Марья выглянула на стук, красивая, грубая:

— На! — сунула деньги.

— Маша, — задрожав, сказал Локтепятков, и корова за его спиной шумно вздохнула. — Машенька, кораблик мой...

— Уходи, фокусник, — сказала Марья. — Я тебя не люблю, придурок, дурак.

— Ты погоди, Маша. Я нам корову купил. — Он пытался сунуть коровину веревку в руку Марье. — Дом построю, жить будем. Люби меня, а? Ты же любила меня, Маша...

Услышав, что ее имя призывно и ласково повторяют, однако ничего с ней не делают и ничего не дают, корова щипнула Локтепяткова сзади за штаны и, закинув рога, замычала.

— Идиот! — Марья хлопнула дверью, треснула щеколдой.

Локтепятков заколотился в дверь:

— Маша! Марь Тимофеевна!

Дверь распахнулась. На пороге стоял изящный физик, голый по поясу, ручки в боки.

— Ты чего тут мычишь? — добродушно спросил он.

Локтепятков хотел наброситься и умолотить ковбойца в кашу к чертовой матери, но вдруг весь ослабел от неожиданного горя и безнадежности. Повернулся и сошел с крыльца. Распечатал пачку и бросил ее изо всей силы в небо. Деньги, как огромные ночные бабочки, разлетелись окрест, и притихли на земле. И пошел дождь, что собирался весь день. Локтепяткова стала бить дрожь. Он сначала накрыл голову пиджаком, потом зацепил с плетня не то крынку, не то здоровый горшок и закрыл голову. Он тащился по улице вдвоем с коровой, с горшком на голове, и вспоминал, как Марья когда-то целовала его, шептала слова. Сейчас она делает то же самое, теми же губами, теми же руками. То же, то же и даже больше, только не с ним, с другим. Все так просто — а в самый поддых, в самое сердце, ёмакарок.

Горшок вдруг наделся Локтепяткову до шеи, воцарилась абсолютная темнота и гулкая глушь. Только лицо Марьи, словно покрытое серебристым лаком для ногтей, сияющее, пылало перед ним. Локтепятков подумал, что умер от горя. Он застыл на дороге, не дыша, и так стоял минуту. Глухо взвыл в своей индивидуальной темноте и упал. Горшок разбился, в лицо хлынули воздух и вода.

Потом Локтепятков добрался до материнной могилы, упал в траву, полную дождя.

— Мама, — причитал он, — мама, — кричал в сырую землю, — ты говорила, что я волосатый, буду счастливым...

А старая мама, подавившаяся кислой вишенкой, молчала.

Утром Локтепятков открыл глаза и увидел, как в небо по крутой дуге вздымалась гигантская зеленая дорога, которая держалась ни на чем. Она была плоская, как лист травы, пересекала облака и уходила куда-то в бесконечность. И по этой дороге шло какое-то гигантское существо, черное, состоящее из двух блестящих туловищ. У него была пара усов, которыми оно шебаршило в блистающих обла-



ках. Навстречу ему медленно спускалось какое-то шаровое устройство не устройство, машина не машина, прибор не прибор — какая-то гигантская капля, в ней горело громадное ослепительное солнце, а другое, — крохотное, настоящее, стояло на небе. Штука медленно спускалась навстречу существу, а оно встало на дыбы и приготовилось к бою.

Локтепятков зажмурился, соображая, что сошел с ума. Когда осмелился поглядеть, ничего не было. Просто у самых глаз стоял лист травы, на нем сидел муравейчик, и катилась капля воды.

— У страха глаза велики, ёк-макарок, — подумал Локтепятков. — Угол зрения и физика на каждом шагу.

Он поднялся, скинул мокрые, уже не желтые туфли, и полез по волглой траве на бугор, откуда было далеко видно.

Стояла тихая тишина, по миру несся какой-то зябкий солнечный ветер из недр Солнца. Далеко на горизонте крохотные Марья и физик шли по выпуклой земле к своему белому городу.

Чуть поближе, в Пузево, у Марьиного двора, куча народа бродила, уставив носы в землю. Время от времени кто-нибудь падал на четвереньки, найдя денежку. Милиционер безуспешно старался разогнать публику. Бабка Фекла, в самозабвении от жадности, пользуясь своим преклонным возрастом, дала милиционеру пинок под зад. Милиционер достал пистолет и выстрелил в воздух.

Локтепятков со своего бугра выстрел видел, но не слышал. Так, наверное, муравьи стреляют в муравейнике.

Локтепятков сидел, грязный и страшный, в галстук-бабочке. А в душе было тихо и чисто, потому в целом свете нет ничегошеньки чище пепла.

А внизу, из-под бугра, корова Маша шла домой, бросив непутового хозяина. Хилая была корова, как сказал бы Саня Перебейнюх, «непрочная».

— Корова, — сказал Локтепятков с улыбкой.

Подумал, добавил:

— Морова...

Мир стал радужным и дрожащим.

Локтепятков вытер глаза.

### *Стихи из тетради радиста Вити*

*Как нужно нам  
Куда-нибудь придти,  
Чтоб рассказать  
О пройденном пути.  
В какой-нибудь такой  
Нешумный дом  
С полузабытой  
Веткой за окном,  
Где негодюя,  
Радуюсь,  
Скорбя,  
Чтоб долго-долго  
Слушали тебя.  
Нам очень нужен  
Этот старый дом,  
Где говорить  
Мы можем  
Обо всем,*

*Где и неправого  
Тебя поймут,  
Грехи отпустят,  
Крепко обоймут,  
Накормят сладко  
И уложат спать,  
И будут долго  
Над тобой  
Вдыхать.  
И пусть сейчас  
Никак нельзя туда —  
Мешают люди,  
Реки,  
Города,  
Нам нужно знать:  
Есть дом в конце пути,  
Куда мы можем,  
Бросив все,  
Прийти,  
И разобраться,  
И понять всю суть.  
И отправляться снова  
В путь.*

## **К ДРУГУ АФОНЕ**

### 1

Здравствуй, дорогой сосед Афоня.

Пишет тебе твой детский товарищ Ефимыч, то есть Иван, Ванеха. Помнишь? Афоня, может, ты думаешь, что я давно упал в деревянный бушлат или меня схарчили акулы. Но ты так не думай, потому что я живой и молочу тралмастером на СРТ «Нырок» в Тихом океане.

Афоня, я уже старый, да и ты, наверное, старый, если живой, а у меня в груди мотор не тянет и по ночам снятся жалкие сны. Вчера ни от чего вдруг приснилось, будто мы с тобой сидим на дереве в детском возрасте, а это не дерево, а яблоня-кислица, что стояла у нашей хаты. И вот сидим мы на верхотуре и рубаем кислушки, а мой папаня стоит внизу с дрыном и требует слезть, потому что мы с тобой, Афоня, евоный табак скурили. А маманя его держит сзади поперек живота и оттягивает, потому что нас еще нельзя дрыном, потому что ребенки. А мы сидим и рубаем кислушки, а они сладкие-сладкие, и ничего не боимся, потому что во сне все это и давно было.

И до этого сновидения я тебя начисто забыл в жизни, а тут вспомнил, и ноздрю твою рваную, что коза распорола, и пишу.

Афоня, ты еще живой? Если ты живой, Афоня, отпиши мне, цела ли еще наша развалюха, потому что я хочу поселиться на твердой земле, чтобы не качало ни в какую сторону, и подумать про свою жись.

Я уже обошел все океаны, и много разных народов видел — и голых, и черных, и всяких, и разных мест насмотрелся, и прочих банан и кокос рубал от пуза. Пока был молодой, все интересно, а теперь тянет к родному корню под кислушку. Хочу тихо сидеть и обдумать про жись про свою, и куда идут люди и разные народы на земле.

Нахожусь я сейчас в море последний раз, нужно центов подмолотить, а то за всю жись ничего не скопил, кроме пригоршни мозолей. Деньги, бывалыча, получал наволочками, а все пропьешь, но флот не опозоришь.

Лепила, врач, меня в море едва отпустил, сердце, говорит, сильно лажовое, но я к нему пристал, и он плюнул. И наказал себя не рвать в работе, а я не могу сачковать. А мы сейчас соревнуемся с СРФ «Окунем» и вкальваем так, что носа некогда утереть, а сердце иногда так схватит, хоть ревма реви, но руки сами в работу рвутся, клятые.

А сейчас, Афоня, мы идем в Северо-Курильск, на ремонт двигунов, а оттудова в Беринговое море за селедкой. Афоня, не забудь про мою просьбу, ежели ты еще живой, отпиши в Северо-Курильск на востребование. Мне нужно сесть и подумать про все, а то помру без удовольствия.

Остаюсь твой детский товарищ Иван Ефимович Козелков.

## 2

Здравствуй, дорогой друг Афоня!

Может, ты уже неживой, что не ответил на мое письмо, а может, оно и не поспело ко мне, потому что мы быстро подмайстрачили двигуны и пошли в моря. Ты прости, Афоня, что пристал к тебе как банный лист к заднице, только ты мне снишься, и я ни хрена не могу поделат. А я тут чуть коньки не отбросил через драку с одним сосунком, тралмастером с «Окуня», с которым «Окунем» мы состоим и находимся в состоянии социалистического соревнования. Он, зуболом, йодом мазанный, стал надираться и говорить бессовестные слова, что, мол, своими штанами может взять рыбы больше, чем я тралом. Тогда я затрясся и вдарил себя в грудь и сказал: берегись! — чтоб он не позорил мою рабочую совесть и отличное умение. А он, гад, молоко на губах не обсохло, стал дражнить и высунул язык. И тогда я как молния своими железными пальцами схватил его за язык и вытянул его на полметра, и этого он никак не ожидал, а потом взял его за бока и повывил из него блох. А он только мычал. Но ему, бугаю, это хуб хрен, а у меня зашло сердце, и был приступ, чуть коньки не отбросил.

Афоня, как все чудно в жизни, сидел я с тобой на яблоньке и ничего не делал, а потом поплыл, поплыл, как дерьмо по Енисею, и уже помирать пора. А в зеркало глянешь, так ужახнешься — чемяр какой-то — морда висит, как тряпка, маманя была б живая, нипочем не узнала, сказала бы: ты не мой сын, нет, я такого не рожала. Да и ты, Афоня, меня не узнал бы, и яблоньки нашей, небось, нет, а через то место, где мы с тобой сидели, идет вольный воздух и пролетают птички.

Афоня, отпиши мне на мою просьбу, мне нужно все сесть и обмозговать, а то тут нас соревнование заело, вкальваешь по двенадцать, а то четырнадцать часов в сутки, и нормально думать некогда, до койки доберешься, один сапог скинешь, а в другом лежишь не раздемши, мототы не хватает. А спать не спишь и сердцем маешься. И видишь не то сны, не то наяву какую-то бередятину, и так, Афоня, себя жалко, будто я малец, и мне сахару не дали, и слезы текут и текут соленые. А тут и так кругом соли полный океан, она на грудь как словно зверюга прыгает из-за борта, и пот соленый, и на палубе эта серая падла, соль, киселится, а ее в бочки, в бочки забиваешь, а она все не уменьшается, Афоня, и в воздухе она летит пылью, и кровь наша соленая, Афоня, на войне я ее пролил своей и чужой, и сколько ее сейчас льется на земле: то там, то обратно выстрелы и бомбы.

И вот, Афоня, понимаю, что на земле одна дикая соль из края в край кипит, и что моя слезинка тут обозначает? — ничего она не обозначает, а все равно плачу по своей жизни, как дите неразумное по сахару. Или, может, Афоня, я в детство впал?

Здравствуй, Афоня.

Нас, Афоня, затерло во льдах, и мы малехо передохнули. А как встали, наш боцман заснул в кают-компани. Сам спит, а с бороды лед оттаивает и капает. Да и все намаялись, а Саня Перебейнюх спит цельными сутками и над койкой повесил вывеску: не кантовать, мол, при пожаре выносить первым. А мне все мысли не дают покою, маюсь и про жись думаю.

А тут у нас, Афоня, один штурманец тоже додумался, чокнулся, чуть не упрятали его в канатный ящик. Штурманец наловил тараканов и за ниточку их в каюте поразвешал, лапами книзу. А потом из газет заголовков настриг: «жись не поле перейти», «я люблю тебя, жись», а общем, все про это. И бумажки свернул кольцом и дал тараканам в лапы. И они, эти засекомые, начали бечь, и кольца закрутились по всей каюте, которые медленней, которые быстрее. И крутятся, и крутятся, и только тараканы лапами копытят: шр-р-р. А его сосед прибегает белый и бледный и кричит: пойдите, кричит, посмотрите, можно там жить или нельзя там жить? И все пошли, а штурманец лежит, смотрит на кольца.

А старпом как гаркнет: что означает эта скульптура? А тот вскочил и докладывает: так что, говорит, мы бегаем и плаваем по земному шару, крутим его винтами и ногами, а сами думаем наоборот... А тут, говорит, я всю правду построил про жись. А сам держит под козырек и плачет, хотя у нас не военных пароход.

И все подумали, что этот штурманец кусаться будет, и попятиться, а он ничего, тихий и глядит задумчиво. Вообще он чифирист и от алкаша лечился два раза. Но я так понимаю, что он не от этого свихнулся, а от безделья, и непрочным людям нельзя бросать работу и думать. Или спи, как Саня, или пусть хоть руки до костей сработаются, а вкалывай вплотную до самого своего конца. Тогда не заметишь, что по кругу бегаешь. Или думай про хорошее.

Нам, Афоня, недавно Леха-учитель со скуки читал стихотворение Пушкина про одного рыцаря. Он был жмот и скупердяга, спускался в трюм и любовался на несметные свои сокровища и деньги. И думал, что счастливый. Может, он и был счастливый, потому что за этим не видал своей смерти, только я, Афоня, думаю, что деньги — шкурки. У меня в душе, как в подполе, Афоня, добрые дела, которые я людям сделал. Плохих людей я бил и убивал, и под Курском с пол-литрой на «тигров» ходил, а с хорошими выпивал и закусывал, и давал взаймы, если у само-го было. И делал, что ни попросят. Может, Афоня, это и есть мое золото в душе, и на него я смотрю, когда хреново с мотором и думаю: ничего, Ефимыч, так-то и помирать легче. Но это я еще обмозгую, как к тебе приеду. Уже нам идет на вырчку теплоход «Мичурин», он нас выдернет изо льдов. Еще немного, я к тебе, Афоня, ежели ты еще живой...

... «Нырок» выбрался изо льдов, и опять началась гонка с «Окунем».

Однажды, когда лебедка, воя, подняла из океана голубовато-серебристый шар — куток трала, набитый сельдью, Ефимыч подбежал и дернул завязку. Рыба хлынула по палубе, а Ефимыч упал лицом в эту живую кашу, и его, уже мертвого, протащило рыбьим напором.

Ефимыча перевернули. В стиснутом кулаке его билась еще живая сельдь с вылезшим пузырьем и выпученными глазами. Ефимыч глядел в небо, торопясь к другу Афоне.

План выполнили на двадцать четыре с половиной часа раньше «Окуня». Было много радости.

«Нырок» стоял среди мелкобитого льда, приткнувшись к огромной плавбазе. Стояла нескончаемая беринговоморская ночь. Саня Перебейнюх варил на палубе цинковый гроб Ефимычу. Вспыхивал мертвый свет, а когда гас, от предметов отлетали во тьму аспидные тени. Поднялось дымное солнце и нехотя повисло на высоте трех своих диаметров над ледяной пустыней. Лицо Сани порозовело. Увлеченный работой, Саня замурылкал из «Оптимистической трагедии», которую сто раз рзугрили на «Нырке»:

Была бы шляпа,  
Пальто из др-ряпа,  
А к ним живот и голова...

На палубу вышел третий штурман. Его сопровождала врачиха с плавбазы. Штурман, как орел, не мигая, долго смотрел на солнце, прижимая к себе банку с тараканами. Потом опустил глаза и увидел весь земной шар, сразу с этой и с той стороны. Нигде не было ни городов, ни гор, шар медленно кружился, сплошь покрытый битым вдребезги льдом. Из трещин поднимался вкрадчивый адский парок. Штурман стоял на шаре один — последний человек, все понявший до конца. Ему было тепло и мудро в одиночестве, в котором он нашел себя.

— Пойдемте, — ласково сказала врачиха, и штурман двинулся, прыгая через воображаемые полыньи. Когда он влез на фальшборт и потянулся к трапу, врачиха поддержала его за бока. Штурман обернулся и спросил тихо, с болью:

— Ну зачем вы... щекочетесь?..

### *Стихи из тетради радиста Вити*

*Золотые кораблики детства,  
О, как вы непохожи на эти,  
На железные, взрослые эти суда,  
Где под палубой — запах портянок,  
Где на палубе — соль и селедка,  
А над палубой — боцманский мат.  
Золотые кораблики детства,  
Вы увозите милые грузы:  
Стивенсона, припухшие гланды,  
И с высокого детского неба  
Синеглазые добрые звезды  
В ваших трюмах лежат, дыша.  
Золотые кораблики детства,  
Пожелайте мне верного курса,  
Да побольше железа в ладонях,  
Приплывайте ко мне, золотые,  
Приплывайте ко мне по ночам.*